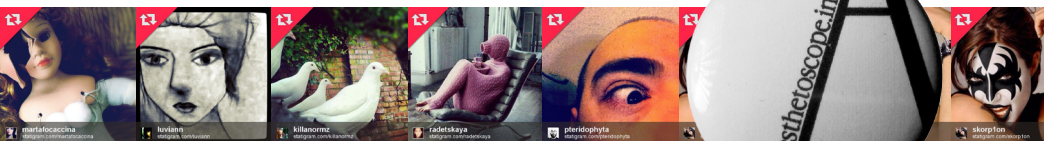


ЭСТЕТОСКОП. 2012_ПРОЗА



Эстетоскоп – литературно-художественный альманах.

Альманах Эстетоскоп выходит в свет несколько раз в год, предыдущий выпуск – Aesthetoscope_2012. Поэзия – вышел в свет в декабре 2011 года, в 2012 году мы соберем два новых выпуска.

Текущую работу по подготовке альманахов в свет мы представляем в регулярных выпусках нашего онлайн-журнала Aesthetoscope.info. В 2012 году онлайн-журнал выходит в свет два раза в месяц, по 1ым и 1бым числам.

В Библиотеке Aesthetoscope увидели свет книги «Линии-фигуры-тела» Давида Шраера-Петрова (Бостон) и «Страсть» дивного поэта Саши Рижанина. В настоящий момент мы готовим к выпуску в виде отдельного издания композицию Рафаэля Левчина (США, Чикаго) «Старые эфебы». В 2012 году мы дополнили Библиотеку Эстетоскопа проектом Aesthetoscope_ в печать. В рамках Aesthetoscope_ в печать мы выпускаем в свет небольшие издания, которые можно скачать, распечатать на принтере и получить удобные для чтения и хорошо оформленные брошюры.

Мы приветствуем участие наших авторов и читателей в творческой и редакционной работе. В процессе работы мы размещаем интересные с точки зрения редакции работы в нашем Редакционном портфеле в Живом Журнале и предоставляем читателям возможность оценить их и оставить комментарии к ним.

В Архиве Aesthetoscope вы можете полистать все издания Aesthetoscope за всю историю его существования.

С нами можно дружить в Живом Журнале, в фейсбуке и в твиттере, в Instagrame и на YouTube. Мы с радостью принимаем новых френдов, подписчиков и фолловеров!

ЭСТЕТОСКОП. 2012_ПРОЗА



© Aesthetoscope, формат издания, 2012

© Владимир Борисов,
Андрей Гореликов,
Алексей Зайцев,
Ашот Караханов,
Алексей Курганов,
Алексей Курилко,
Антон Лукин,
Ирина Сидоренко,
Дмитрий Чипроновский,
Никита Янев,
текст, 2012,

© skorp1on (fotomontaje por Skorpion, www.skorpiongraphics.com),
johnnylash,
mrjamesnunn,
therealyogibear_,
analogue_ (original artwork/photographer John Mitropoulos),
martafocaccina,
liviann,
killanormz,
radetskaya,
pteridophyta,
zombiegogo,
сервис Instagram, фотографии, 2012
© Марина Янева, куклы, иллюстрации, 2012

ЭСТЕТОСКОП.2012_ПРОЗА

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Владимир Борисов
(Москва)
Белые голуби
ефрейтора Лямина..... 5
- Алексей Курганов
(Коломна, Московской области)
Колька Елабуга
или Диван с фотографиями.... 21
- Алексей Курилко
(Украина, Киев)
Яблоко от яблони..... 28
Хулиганы..... 31
- Антон Лукин
(село Дивеево, Нижегородской области)
Белая горячка..... 48
- Никита Янев
(Мытищи, Московской области)
Загробная компенсация 54
- Андрей Гореликов
(Красноярск)
Татуировка..... 62

Дмитрий Чипроновский
(Санкт-Петербург)
Самая красивая девушка
в мире.....66

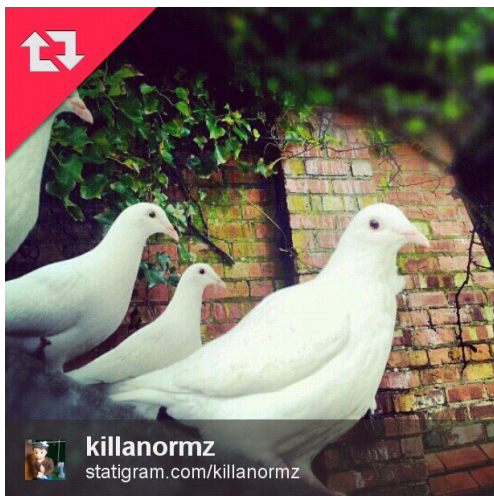
Ашот Караханов
(Украина, Киев)
Пустота.....69

Ирина Сидоренко
(Украина, Киев)
Тук-тук.....78
Портрет Грет де Доран.....82

Алексей Зайцев
(Москва)
Миниатюры.....89

Эстетоскоп.31_в печать94
Рафаэль Левчин. Старые Эфебы.....96

ЭСТЕТОСКОП.2012_ПРОЗА



Старший лейтенант Аршинов, командир отдельной разведроты при 8-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника В.И.Чуйкова, проснулся с жуткой головной болью, уставший и не выспавшийся. В спертom полумраке витал отчетливый запах сивухи, давно не мытых мужских тел, вечно влажных, от пота подопрелых портянок. В небольшое надтреснутое стекольце окошка с завидным упорством билась большая, недовольно жужжащая муха. На столе, стоявшем в дальнем углу подвала, на пожухлых и надорванных газетах тускло поблескивали пустые бутылки из-под трофейного шнапса и растерзанные штык-ножами жестянки говяжьей тушенки. Разведчик с протяжным стоном сбросил с себя шинель, трудно поднялся с дощатых, застланных чем попало ящиков и, выцарапав из мятой пачки папиросу, присел на шероховатый гранит саркофага с выпуклым крестом на округлой прохладной крышке. Сизый табачный дым нехотя ушлявал куда-то под арочные кирпичные потолки подвала древнего, полуразрушенного костела, в котором вот уже сутки отдыхала рота Аршинова, вернее сказать, то, что от нее осталось после участия в тяжелых кровопролитных боях на подступах к Берлину. Почувствовав табачный дух, к своему командиру начали подтягиваться и подчиненные.

Аршинов сердито сопел, сплевывал тягучей слюной себе под сапоги и отрешенно прислушивался к своей, невесть чем недовольной, душе. Всю ночь ему снилось что-то похабное и гнусное: то голая баба на

сносях, дородная и простоволосая, с плоской обвислой грудью и расплюснутыми ляжками, наглая и приставучая, то корзина, полная снулой рыбы, осклизлой и вонючей... Разведчики, без слов почувствовав дурное расположение своего командира, с вопросами не приставали, покуривали себе потихоньку, перематывали портянки, перечитывали старые засаленные письма из дому, да вяло матерились, прислушиваясь ко все еще отчетливо слышимой оружейной канонаде.

– Карнаухов! – Аршинов негромко окликнул дремавшего рядом мужика, уже в годах, с погонами старшины на выцветшей, украшенной кругами соли гимнастерке. – Ты, враг народа, признавайся как на духу, откуда вчера это пошло приволок? – Рука лейтенанта безвольно дернулась в сторону стола. Старшина, очевидно деревенский мужик, насквозь пропитанный какой-то извечной сельской хитрожопостью и тайным высокомерием над горожанами, тут же очнулся и, словно заранее ожидая вопрос офицера, зачистил:

– А я че? Я ниче... Я тут вообще ни при чем... Это, вон, вы у них, у особиста, спрашивайте, что вам вчера под вечер какую-то бумагу приволокли, да и заодно по поручению зам по тылу полка товарища Евстигнеева ящик этого говна... прошу прощения, шнапса. Мол, вроде бы, вместо спирта... Принес, да и остался... Вы с ним, товарищ старший лейтенант, по первости все спорили о чем-то, а опосля накатили ему стакан по зарубку, вот они и сломались... От устатку, наверное... Хотя, может быть, просто пить не умеют...

– Вместо спирта... – процедил Аршинов и снова сплюнул. – Ну и где сейчас этот особист? Куда затесался?

– Да вон они, товарищ старший лейтенант, в домовине спят... И как только не страшно, прости господи? – мужик, было, дернулся перекреститься, но передумал и, махнув рукой, невесть зачем отдал честь, и сидя, и с непокрытой головой.

– В домовине, говоришь? – Аршинов хмыкнул и, приподнявшись, всмотрелся в темный угол, где вперемежку со всяким мусором – рассохшимися бочками, полулысыми метлами и пришедшими в негодность корзинами, – стояли несколько темно-серых свинцовых гробов без крышек. В одном из них спал молодой капитан НКВД, в новенькой форме, при новеньких погонах и с сияющим красной эмалью ордемом. Рядышком с курносой, веснушчатой физиономией похрапывающего капитана зиял черными глазными впадинами чей-то череп, рыжеволосый, плотно обтянутый коричневой, высохшей кожей.

– Герой... – глянув на часы, протянул насмешливо Аршинов, заторопился, и, уже более не думая ни о спящем особисте, ни о собственном похмелье, приказал неожиданно трезво и твердо, – Задача у нас на сегодня такая, господа разведчики... Пока мы здесь пьянствовали и отсыпались, там, наверху, наша доблестная авиация, артиллерия и, есте-

ственно, танки качественно отутюжили улицы Берлина. Да и пехота, что уже прошла далеко вперед, наверняка основательно поработала... И, заметьте, без нас... Врать не буду, нам редко доводилось воевать позади основных частей (обычно наоборот), но вот сегодня – сподобились. Итак, наша задача: зачищать чердаки и подвалы от снайперов-кукушек, нарочно оставленных отходящими частями фашистов, недобитых немцев, случайно отставших от своих, а также мальчишек из гитлерюгенда и дойчесюнгфолька...

– Батюшки! – всплеснул руками вновь было задремавший старшина. – А это что еще за фрукты?

– А это, Карнаухов, мальчики от десяти до четырнадцати лет, члены молодежной фашистской организации... – проговорил веско, со знанием дела, проснувшийся капитан особого отдела, не без изящества выбираясь из гроба. – Прошу прощения, фрау, что потревожил ваш многовековой сон, – энкавэдэшник шутовски поклонился костяку, разворошенному им во сне, глухо звякнувшему о толстые стенки мягкого металла. – Так вот, товарищи разведчики (офицер присел рядышком с командиром роты и чуть ли не насильно приобнял того за мигмом окаменевшие плечи), мы вчера с вашим старшим лейтенантом немного повздорили как раз по поводу этих мальчиков. Товарищ Аршинов убежден, что с этими детками можно договориться лаской, по-доброму: дескать, дай ему конфетку, так он тебе добровольно карабин или там фаустпатрон к ногам положит... Хрена лысого вам он положит, а не оружие! – лицо особиста пошло яркими, алыми пятнами, стало злым и отталкивающим, – Этих детей Гитлер лично на смерть благословлял, и нет для них большего почета, чем за своего фюрера жизнь свою малолетнюю положить...

В подвале наступила относительная тишина, лишь молодой пацан-ефрейтор, в сдвинутой на макушку пилотке, чиркал и чиркал самодельной зажигалкой, с любопытством разглядывая оранжевый язычок огня.

– ...И запомните, товарищи! Это вам не первые годы войны – языки нам в настоящий момент без надобности... Ни к чему... Уже победой пахнет... Так что пленных особо брать не рекомендуется... По крайней мере, там (капитан ткнул кривоватым пальцем в кирпичные своды), очень рекомендуют с одиночками не церемониться... Разве что офицер какой подвернется...

– Эт-то вы нам значит, товарищ капитан, официально приказываете десятилетних мальчишек в распыл пускать? – от волнения слегка заикаясь, заговорил вдруг тот самый молоденький ефрейтор с зажигалкой. Он поднялся во весь рост и оказался совсем худеньким, долговым и неуклюжим, словно промокший во время грозы воробушек. –

Да вы, похоже, там, у себя в кабинетах, совсем с ума посходили!? На разведчиках и так крови полно, но чтобы детской!?

– Как твоя фамилия, ефрейтор? – голос особиста приобрел вдруг необычайную звонкость и значимость. – Ты что себе позволяешь, молокосос? – Капитан вскочил было, и лишь от того, что жилистая рука Аршинова прихватила его сзади за блестящую кожу ремня, не смог подбежать к побелевшему ефрейтору. Тогда, повернувшись к командиру роты, он, четко проговаривая каждый звук, отчеканил:

– Старший лейтенант Аршинов, сегодня вечером, в районе двадцати часов я ожидаю вас лично и этого вашего говоруна (если он, конечно, останется в живых) в моем кабинете. Особый отдел расположен в...

– Я знаю где. Видел... – прервал его разведчик и, с усилием разжав сведенные судорогой вокруг ремня пальцы, закурил, успокаиваясь. – Если живы будем, придем... До двадцати часов еще много воды утечет...

– Ну-ну... – хлопостнув дверью, капитан, слегка пригнув голову, на макар молодого бодливого бычка, вышел из подвала.

– Ох, и мудрило же ты, Сережка. Ох, и мудрило... – Аршинов грязно выругался сквозь сжатые, темные от никотина и крепкого чая зубы. – Этот капитан та еще сука! Из ничего дело может сострять... Талант, мать его!.. Засудит, как пить дать, и не посмотрит, что ты у нас еще мальчик нецелованный, и к тому же наш единственный на всю роту поэт... – Он хмыкнул невесело, помолчал, прислушиваясь к плотной и вязкой, прокуренной тишине подвала, слегка нарушаемой довольным шепотом ефрейтора Лямина (поэт... при чем здесь поэт?), подошел к столу и, безжалостно сбросив бутылки на пол, расстелил небольшую, замызанную на сгибах карту... – Ну да ладно, пес с ним, с капитаном этим... Бог не фраер, он правду видит, отболтаемся как-нибудь... Командиры взводов и старшина роты, ко мне!

Мельчайшая кирпичная пыль повисла над городом, окрашивая в рыжий цвет и без того довольно мрачное утро. Натруженный рев техники, отвратно-пронзительный скрежет гусениц танков и самоходных орудий по гранитным мостовым, надрывный кашель тяжелых минометов и сухой треск пулеметов еще затемно переместились далеко за реку. И доносились сюда, на окраину Берлина, засаженную садами и застроенную старинными усадьбами и небольшими замками обедневших фамилий и родов, лишь в виде довольно монотонного фона, гула, несколько схожего с затихающим громом сухих августовских гроз... Пустынные улицы, мощеные серой брусчаткой, наверняка в свое время аккуратные и строгие, обсаженные стриженными ухоженными кустами, с кирпичными, по пояс заборчиками, сейчас выглядели грязно и запущенно. Закопченные руины, вывороченные с корнем цветущие яблони, обрывки плакатов со свастикой и крестами, тут и там

кучки экскрементов, поваленные столбы с оборванными проводами. Посредине мостовой, с разбухшим брюхом и под сурепку опаленным хвостом, валялась павшая лошадь с рваной раной на шее. Ее широко раскрытый рот улыбался крупными желтыми зубами, черные глазницы шевелились навозными мухами... Отчего-то вид этой убитой кобылы привел парня в большее смятение, чем тут и там лежавшие тела погибших солдат... И наших, и не наших... Лямин зло тряхнул головой, прощально махнул пилоткой вслед уходящей вперед группе разведчиков во главе со старшим лейтенантом, а сам принялся с любопытством разглядывать неказистый, трехэтажный каменный дом, стоящий в глубине сада, с высокой крышей под грязно-бурой черепицей и погнутым шпилем тронутого ржавчиной флюгера.

...Вообще-то на зачистку полагалось ходить минимум вдвоем, но людей катастрофически не хватало, и Аршинов, чуть ли не обнюхав дорожку и молодую траву прилегающих к вилле газонов, одобрительно кивнул и, бросив веское «один справишься, надо думать...», повел остальных к чернеющей поблизости громаде ратуши.

«Das kleine Schloss der Barone den Hintergrund Der schwarze Storch» – как смог прочитал Лямин черную, местами облупленную надпись над высоким дверным проемом, пожал плечами и, приоткрыв чудом уцелевшую калитку, направился к дому. Пройдя сквозь ряд невысоких, исходящих розовым цветом яблонь по небольшой, засыпанной битым красным кирпичом дорожке к парадной двери замка, разведчик привычно, не задумываясь, поправил финский нож, висевший слева на ремне, и дернул витой шнур, покачивающийся над входом.

Где-то в глубине дома послышался глухой звонок, но к двери никто не подошел. Лямин еще раз осмотрелся и вошел в незапертую дверь. Дом явно пустовал и пустовал уже довольно давно... Тишина, пыль, затхлый запах мышей и нежилого помещения... Под ногами скрипели осколки стекла и тонкого фарфора. С пыльных полотен, часто развешанных на стенах, на ефрейтора смотрели темные, мрачные старцы в шубах и рыцарских доспехах. Грудастые купальщицы, слегка прикрытые прозрачным шелком, призывно улыбались влажными распутными губами... На столах – разбросанные пожелтевшие фотографии. Разведчик, впервые принимавший участие в подобных зачистках, чувствовал себя в этом чужом доме довольно неуютно: его не покидало гадливое ощущение чего-то постыдного, как если бы он ночью подглядывал за собственными родителями. Возле окна, на резной тумбочке, стоял огромный аквариум, в котором в толще мутно-зеленой воды угадывались большие лупоглазые рыбины.

– Ох, ни хера себе! – поразился Лямин, никогда до сих пор не видевший аквариумов. – Что это за уродцы такие, караси что ли? – Сергей покрошил в воду черный, густо просоленный сухарь, и с умилением

понаблюдав, как оголодавшие рыбины, отталкивая друг друга, вспенив яркую зелень ричии, кинулись к угощению, направился к винтовой, темного дерева лестнице, ведущей наверх. В плотном чердачном мраке, разрезанном пучками пыльного света, падающего из слуховых окон, то тут, то там виднелись обильно побеленные голубиным фосфором, толстые, поперечно брошенные балки сухого дерева. В ближнем углу что-то вдруг шевельнулось и Лямин, перехватив автомат поудобнее, напрасно вглядываясь в темноту, шагнул с дощатого трапа на противно скрипнувший под сапогами шлак. Голуби, ярко-белые, с необычайно лохматыми лапами, шумно всполохнулись, испуганно смотрели на разведчика блестящими бусинами глаз и тот, расслабившись, улыбнулся, не обращая внимания на легкий, почти неслышный шорох позади себя.

В сознание Лямин приходил долго и трудно. Приступы тошноты вновь и вновь бросали его, обессиленного и опустошенного, на податливый шлак, выворачивая наизнанку и без того не больно уж полный желудок.

– Ох, мама... – прошипел Сергей, размазывая слезы по лицу грязной от шлака ладонью, и, наконец придя в себя, кое-как смог присесть, откинувшись спиной на шершавый, деревянный столб. Прямо перед ним на корточках сидела девчушка в коротеньком передничке, мятом и пыльном, в шерстяной, вязаной крючком темной кофточке. Ее огромные голубые глаза со странными темно-фиолетовыми льдинками с испугом смотрели на обессиленного разведчика. В руках девушка все еще держала короткий обрезок ржавой трубы.

– Ну, ты даешь, девочка, как там тебя: Гретхен, Марта? – пробурчал обиженно Сергей, потирая коротко стриженую голову. – А если б на мне пилотки не было? Что тогда? Совсем кирдык был бы ефрейтору Лямину? Что молчишь? Немая, что ли?

Девчонка отбросила обрезок трубы вглубь чердака, поправила золотистые волосы и, вдруг широко улыбнувшись, затараторила:

– Nein. Ich Гретхен und nicht des Марта. Mich rufen Эльза. Ich diene da schon drei Jahre im Haus des Barones den Hintergrund Der schwarze Storch... (Нет. Я не Гретхен и не Марта. Меня зовут Эльза. Я вот уже три года служу в доме барона фон дер Шварцсторх).

– Ну, ты, то есть Вы, даете, Эльза. Как по-немецки быстро шпарите... Я в школе английский учил, да и то, если честно, так себе, больше для виду. А на вашем разве что «хенде хох», да «Гитлер капут» знаю...

– Oh, ja, ja! Hitler kaput! – проговорила девчонка, испуганно отодвигаясь от разведчика.

– Да Вы меня не бойтесь, Эльза, – миролюбиво поправился Лямин и приподнялся, отряхивая задницу. – Я, если честно, вообще здесь

никого увидеть не ожидал. Есть у меня сомнение, что командир наш, старший лейтенант Аршинов, меня в заведомо пустой дом послал... Бережет, так сказать... Думает, раз молодой, то и ничего не понимаю... А я все понимаю... Он, как только мы к Берлину подошли, так сразу же и перестал меня на серьезные операции посылать... Зачем, мол, молодым погибать, когда войне уже конец пришел... Я давно его раскусил, старшого нашего... – Сергей подошел к девушке поближе и, откровенно любясь ею, продолжил, нимало не переживая о том, что она его скорее всего и не понимает вовсе, – Он у нас молодец, наш старший лейтенант Аршинов. Орел! Ну, и ему с нами повезло, сплошь герои! – ефрейтор, подбоченившись, горделиво побренчал двумя медальками, висевшими у него на груди. – Видите, медали? То-то... Это я еще прошлой зимой один двух языков зараз приволок... Правда, они пьяные были вусмерть... – зачем-то признался он, покраснел и рассмеялся.

– Bei Ihnen, Herr der Soldat, bei russisch, die sehr schöne Sprache. Aber ich verstehe Sie vollkommen nicht... (У вас, господин солдат, у русских, очень красивый язык. Но я Вас совершенно не понимаю...) – проговорила Эльза и тоже рассмеялась... И даже, забывшись, ткнула тонким розовым пальчиком Лямина в грудь. – Herr der Baron hat aller seinen Tauben aus dem Taubenhaus befohlen, auf den Dachboden zu verlegen (Господин барон приказал всех своих голубей из голубятни перенести на чердак).

– Что!? Что Вы говорите? Голуби хотят есть? – предположил Сергей, заметив, что девушка рукой показала на птиц, то тут, то там важно восседающих на балках. – Сейчас, сейчас что-нибудь сообразим. – Он развязал заплечный мешок и, разложив газету на дощатом трапе, начал выкладывать на нее продукты, хлеб, желтое и прогорклое, старое соленое сало, кусок сахара в налипших хлебных крошках... – Сейчас мы ваших птах накормим...

Вдруг, совершенно случайно, каким-то боковым зрением Лямин заметил, как, каким голодным взглядом окинула Эльза разложенные продукты, прежде чем отвернуться, независимо и непринужденно.

– Ээээ, – протянул он пораженно. – Да Вы сами, похоже, тоже есть хотите? Так что же Вы молчите? Ну, нельзя же так...

Ефрейтор остро отточенным финским ножом нарезал сало и хлеб толстыми ломтями и, тронув девушку за плечо, пригласил, неизвестно отчего дрогнувшим голосом:

– Садитесь кушать, пожалуйста. Садитесь...

Тонкие ноздри девушки задрожали и она, помедлив мгновение, вдруг решила и присела рядом с угощением.

– Danke, Herr der Soldat. Wenn ehrlich, ich schon zwei Tage nichts aß... (Спасибо, господин солдат. Если честно, я уже два дня ничего не ела...) – проговорила Эльза с набитым ртом и покраснела.

Глядя на жующую девчонку, покраснел и Сергей, закашлялся и, отойдя в сторону, закурил.

– Вы не думайте, Эльза, – зачем-то начал оправдываться до странности счастливый мальчишка. – Я вообще-то курю редко: так, для солидности... А Вы, наверно, не курите? Это хорошо. Я тут недавно с одной... связисткой пообщался, так от нее табачищем разило хлеще, чем от нашего старшины. ...А пойдете, я Вас со всеми нашими познакомлю: с командиром, с ребятами... – Зачастил вдруг Сергей, заметив, что девушка, наевшись, довольно откинулась на кирпичный откос чердачной двери. – Пойдемте!? – Он даже замахал руками, показывая Эльзе на выход. Та качнула отрицательно головкой и, сняв с бельевой веревки, протянутой поперек чердака, джутовый мешок, встряхнула его (подняв кучерявое облако невесомой пыли) и одного за другим, ловко прихватывая пальчиками их белые крылья, опустила в мешочную горловину двух недовольно заклокотавших голубей.

– Господи! – вскричал обескураженный Лямин, – да разве ж голубей едят!? – и, даже отскочив назад, завертел зажатой в руке воображаемой ложкой... – Я не хочу. Я не буду их есть...

– Nein, nein! Es nicht dafür, was zu essen... Es auf das Gedächtnis... (Нет, нет! Это не для того, чтобы кушать... Это на память...) – поняв, надо полагать, отрицательные жесты Сергея, тихо рассмеялась, как оказалось, довольно смешливая девушка. – Auf Wiedersehen, Herr der Soldat. Nehmen Sie diese Tauben auf das Gedächtnis für mich... (До свидания, господин солдат. Возьмите этих голубей на память обо мне...) – отворачиваясь от Лямина, проговорила она и начала старательно отчищать старое, въевшееся в ткань передника, темное пятно...

– Ich werde auf Sie, Herr der Soldat, warten... Das Ehrenwort, werde ich warten. (Я буду ждать Вас, господин солдат... Честное слово, буду ждать). – Девушка вдруг скоро осмотрелась по сторонам, словно опасаясь лишних, любопытных глаз, и, не заметив оных, подскочила ко вконец потерявшемуся разведчику и звонко поцеловала его в незнающую еще пока бритвы щеку. Лямин расплылся в широкой улыбке, вдруг присел и пальцем на пыльном трапе нарисовал вопросительный знак, вопрошая мигающими глазами – мол, а ты куда, Эльза!

– Ich. Ich werde wahrscheinlich probieren, nach Hause, in den Vorort Kölns zurückzukehren, wo ich im Gut den Hintergrund Hoffmann lebte. Mein der Vater arbeitete bei Hoffmann den Stallknecht (Я, наверно, попробую вернуться домой, в пригород Кельна, где я жила в имении фон Хофманна. Мой папа работал у Хофманна конюхом). – она замахала рукой куда-то далеко, в сторону пригородных перелесков, хорошо видимых через ближайшее слуховое окно...

– Вон оно как, – прошептал Сергей, сердцем видно поняв ее ответ, и вдруг резко вытащил из кармана гимнастерки свою фотографию,

СПРАВКА

Выдана фройляйн Марте Берг ефрейтором отдельной разведроты Ляминим на предмет предъявления всем работникам советских комендатур для свободного возвращения ее домой в пригород Кельна, имение Hoffmann. Фройляйн Марта Берг последние три года служила у баронов Hintergrund Der schwarze Storch горничной, а значит, может быть приравненной к пострадавшим от мирового капитализма.

28 апреля 1945 г., ефрейтор Лямин.

Имена и названия местности, более мелким и аккуратным почерком, вписала сама девушка...

– Это, документ, Эльза. Он поможет тебе добраться до дома. – прошептал Сергей и, пригнув голову, часто-часто заморгал глазами полными слез... – Поняла? Документ...

– Ja, ja. Ich habe verstanden. Es ist Dokument... (Да, да. Я поняла. Это документ...) – прошептала она, прижалась к нему и тоже заморгала.

Так и стояли они, обнявшись: русский парень из Ленинграда и немецкая девушка из пригорода Кельна... Стояли на пыльном чердаке небольшого замка на окраине агонизирующего Берлина, не замечая, что в ближайшем слуховом окне уже задрожали первые блеклые звезды весеннего вечера. Стояли и плакали. Плакали и молчали...

Зельма и Хельмут Фляйшер, одиннадцатилетние близнецы, члены Дойчес Юнгфолька, впервые вышли на самостоятельную охоту. Зельма, еще в полдень случайно услышав откуда-то сверху, с чердака соседнего дома, русскую речь и мужской громкий смех, чуть ли не пинками выгнала своего глухонемого брата из подвала овощной лавки фрау Каргер, где они со своей матерью, с замужества забитой и запуганной женщиной, скрывались последние четыре дня, пока советские войска с боями прорывались к центру города, и сквозь руины и заброшенные сады повела его к сараю, где хранила ручной пулемет MG-08/18, брошенный немцами при отступлении. Взгромоздив пятнадцатикилограммовую железяку на детскую коляску, дети доволокли его до ближайшего перекрестка, где уже под руководством не по-детски холодной и озлобленной Зельмы установили пулемет в тени раскидистого куста сирени, откуда прекрасно просматривалась вся улица. Хельмут первое время с интересом разглядывал оружие, но уже через полчаса мирно посапывал на молодой травке, предоставив тяготину ожидания своей сестре.

...Сергей шел по улице к ратуше, шел, радостно размахивая руками, всей грудью вдыхая весенний воздух. Он полюбил! Он знал это со-

вершено отчетливо. Перед его глазами все еще стояло лицо веселой и взбаломшной девчонки Эльзы, а это ее последнее «Ich werde auf Sie, Herr der Soldat, warten... Das Ehrenwort werde ich warten» («Вы очень добрый, господин солдат. Я Вас никогда не забуду...»), сказанное ею на прощание, звучало в нем как песня. Песня всепоглощающей любви и всепобеждающей весны.

Лямин остановился на перекрестке, улыбаясь, поправил ляжку мешка, где копошились подаренные девушкой голуби, и, тут же споткнувшись о тяжелую, плотную пулеметную очередь, упал на пыльный камень мостовой, в болезненном бессилии ломая ногти и сдирая кожу с пальцев широко разбросанных рук. Последнее, что увидел он сквозь мерцающее болезненное оцепенение, были детские кривоватые ноги в тяжелых ботинках и коричневых растянутых на коленках колготках, и еще ему показалось, что кто-то бесцеремонно и нагло стаскивает со спины его вещевой мешок...

Все последующее дни, когда Сергей Лямин осознал, что он жив, прошли в тяжелых болезненных операциях, изнуряющей гангрене, мотании по госпиталям Германии, Польши, а потом и России, в страшных мытарствах самого обыкновенного русского солдата, многократно умноженных ясным осознанием рухнувшего счастья. Счастья любить и быть любимым.

А в 1946 году, его, только-только начинавшего ползать на своих долго не заживающих культях ног, из московского госпиталя в Марьиной роще без всякого объяснения перевезли на остров Валаам, где в бывшем православном монастыре был оборудован госпиталь для инвалидов войны.

Над островом, над остатками древнего соснового бора и гранитными утесами-волнорезами и над старинными монастырскими постройками послышался дребезжащий, какой-то до необычайности фальшивый звон треснутого церковного колокола.

– Ужин... – пробормотал удивленно Сергей и осмотрелся. Над окружающим Валаам озером вольно раскинулось темное, сочное, отчаянно-синее небо в обрамлении вытянутых пестро-розовых вечерних облаков. – Ах, чтоб тебя, совсем забыл. – ругнулся обескуражено Лямин. – Белые ночи... Наступают белые ночи... Сколько лет здесь живу, а все не могу привыкнуть...

Мужик вздохнул, выхаркнул далеко в воду изжеванный папиросный окурок, убрал огрызок карандаша и исписанный неровными строчками лист грубой оберточной бумаги в верхний карман мятой, словно изжеванной, серого цвета пижамы. И, резко развернувшись на руках, как мог быстро двинулся по направлению к монастырю, далеко вперед выбрасывая лишнее ног тело, кургузое и нелепое. Куски грубой

кожи, крепко пришитые на коротко обрезанных штанинах, болтающихся на все еще кровоточащих культиях ног, шуршали по древней, каменной мостовой отчетливо и сиротливо...

Шууук, шууук, шууук... Шууук, шууук, шууук...

Справа и слева, из-за примыкающих к госпиталю кустов и с прогре-тых на летнем солнышке каменных прибрежных утесов, раскачиваясь, начали появляться такие же, как Лямин, «ходячие» калеки...

Шууук, шууук, шууук... Их становилось все больше и больше: безногих мужиков, бывших солдат, спешивших на ужин в монастырь...

Шууук, шууук, шууук... Шуршанье кож, под арками потолка сливается вдруг в нечто громкое и страшное...

Шууук, шууук, шууук...

Таких, как Лямин, на острове Валаам было несколько сот человек. Дай Бог, если не тысяч. Вдоль извилистых и длинных монастырских коридоров, аркообразных, вечно влажных и холодных, с проплешинами обвалившейся шпукатурки уродливыми чужеродными сооружениями притулились дощатые нары, лишь для блезиру застеленные несвежим, серым, прелым бельем. Утром, если погода позволяла, с нар этих на улицу, поближе к солнышку, словно огромные серые клопы, как могли, через силу, сдерживая стоны и слезы, сползали безногие, а частенько и безрукие калеки: инвалиды, чудом уцелевшие в жерновах кровавой войны и не сдохшие по дороге на Валаам в одном из многочисленных более мелких прифронтовых полевых госпиталей. До самого вечера, когда санитарки из бывших уголовниц, наглые и разбитные бабенки, приносили ужин в высоких зеленых и мятых термосах, притороченных к засаленным черенкам от лопат, инвалиды, как могли, расползались по острову, грелись на высоких каменистых берегах озера, подставляя свои кургузые бледные тела и заживающие культы скупому на тепло северному солнышку. В бывших монашеских кельях, так же, как и в коридорах, стояли наскоро сколоченные нары, но из-за наличия в кельях небольших оконцев, пропускающих малую толику света, главврач госпиталя распорядился предоставлять эти комнатки только для бойцов, потерявших как верхние, так и нижние конечности...

«Огарки» – так, почти дружелюбно обращались к ним измотанные и затюканные старухи-сиделки, изо дня в день, из месяца в месяц вынужденные ворочать этих когда-то сильных и смелых мужиков, подмывая и кормя их с ложечки...

«Огарки!» – в бессильном отчаянии, про себя, а то и в полный голос кричали вечно пьяные врачи-хирурги, доведенные до скотского состояния отсутствием нормального питания и медикаментов для своих пациентов...

«Огарки», – презрительно морща носы, проползали мимо келий с такими обитателями более «укомплектованные» конечностями калек...

Ужин проходил обычно в большой, плохо отапливаемой монастырской трапезной. Дирекция госпиталя не удосужилась даже побелить стены и теперь на калек, жадно глотающих полусырой, клейкий хлеб и переваренный горох, сверху, с потолков и высоких квадратных пилястр взирали скорбные лица святых и великомучеников. Господи, да какие же еще муки должен перенести обычный человек, чтобы подняться до вас!? Как ни странно, прием пищи в трапезной проходил если и не весело, то, что ни говори, довольно оживленно...

– Эй, молодой, подай-ка горчички...

– Да откуда ж я тебе ее возьму, высу что ли!?

– Какой ты грубый, фу! Ну, сказал бы просто, мол, нет ее, кончилась, мол, она, товарищ лейтенант, горчичка, значит... А ты «высу»...

– Товарищ, товарищ... Скажи спасибо, что тебе руку спасли, а то бы ходил сейчас в огарках, товарищ лейтенант...

– Эх, братва... Какой я сегодня сон видел... Иду, значит, я по Одессе, клешами пыль поднимаю, а навстречу мне цыпа... Ммммм... Сказка... И, что характерно, она, господа инвалиды, прямо так на ходу и разоблачается... Мда... И когда между нами осталось всего пару шажочков, сбрасывает, она значит, белье свое белое, да с начесом...

– Ну и что дальше, не томи, морячок!? – незаметно для себя заинтересовались соседи по столу...

– Да что дальше... – Моряк загрустил, аккуратно смахнул со стола хлебные крошки в ладонь, а оттуда в беззубый рот... – Белье-то она скинула, а под ним яйца... Гадом буду, большие такие, морщинистые, как у старого слона... Так у меня враз все желание и улетучилось... Упало, так сказать...

Смех прокатился над столом и на миг люди позабыли о своих болячках, о родных, что, быть может, так их никогда и не увидят, о прошедших и будущих операциях, наживую, без анестезии, о холодных и сырых коридорах, о страшном одиночестве, что сковывает по ночам хуже, чем холод и голод...

– Кстати, Сережа, – шкодливый морячок ненатурально смотрел мимо, поверх головы Лямина, засобиравшегося уже из-за стола. – Тебя сегодня что-то уж больно упорно Томка разыскивала... Может клизму хотела поставить, а может и наоборот, хотела, чтобы ты ей вставил...

– Какая еще Томка, зачем? – буркнул было Сергей и покраснел, бурно и неожиданно...

– Ну, тебе, паря, виднее, зачем, – противно рассмеялся весельчак в тельняшке, и стол вновь утонул в хохоте мужиков, скорее в завистли-

вом, чем в обидном... Лямин покраснел еще круче и поспешил убраться из столовой.

– Вот же, блядь ненасытная! – думал он зло, на руках подтягиваясь на свои нары.

В тот день, когда объявили о смерти Сталина, вернее в ночь, потерявший жизнью дежурный врач плакал на улице пьяными слезами и для чего-то расстрелял всю обойму своего пистолета в желтую, шершавую луну. В ту ночь медсестра Томка, Тамара Кривоус, осужденная в свое время по делу врачей и неизвестно как и почему появившаяся здесь уже в должности дежурной медсестры, запустив под одеяло Лямина свою горячую, жадную ладонь, исподволь, тихим сапом, возбудила молодого спящего мужика, а потом, сбросив сапоги и ватные штаны, оседлала Сергея ровно лошадь и поимела его пошло и больно... С тех пор она, хоть раз в неделю, но повторяла подобное и на жалкие попытки безногого, от голода слабого мужика воспротивиться, смеялась жестко и беспощадно. На слова же о его чувствах к немке Эльзе либо просто насмехалась, либо запугивала доносом куда нужно... Практически весь коридор знал об их связи, но недовольство Сергея изголовавшие по бабым ласкам мужики не разделяли, откровенно считая придурию счастливичика...

– Эх, малый, да кабы меня так Томка хоть раз изнасиловала, да я бы ей за это весь сахар за год отдал бы – не глядя... Сукой буду! – исходил завистью и божился беззубый моряк, спящий на соседних с Ляминим нарах, запуская ненароком руку в штаны...

– Вот и предложи, гад! – срывался на крик бывший ефрейтор и уползал прочь от пошлых и недобрых разговоров, завистливых взглядов, скабрзных намеков, уползал на берег, на заветный свой камень, где обычно писал никогда не отправляемые письма своей Эльзе. Вот и сейчас в нагрудном кармане пижамы недописанное письмо его исходило сухим шепотом неровных строчек.

«Здравствуйте, дорогая Эльза. Вот уже скоро девять лет, как мы с Вами не виделись... Странно, очень странно, но я никак не могу сказать Вам, фройляйн Эльза... И не оттого, что в моей стране это как-то не принято, и не оттого, что Вы можете выйти замуж (я о такой возможности даже и думать не желаю) и стать фрау, а вот не могу и все тут... Вы моя, просто моя Эльза, смешливая, длинноногая девчонка с пыльного чердака в имении фон... как бишь его? Забыл. Вы не поверите мне, Эльза, но забыл... Все помню: и веснушки у Вас возле носа, и странные темно-синие льдинки в Ваших голубых глазах, и прозрачные капельки пота у Вас над верхней губой... И как Вы меня той трубой по голове шарахнули... Я все помню... И то, что обещал к Вам приехать, тоже помню... Но, дорогая Эльза, для того, чтобы нам с Вами встретиться...»

– А, вот ты где... – Тамара, несмотря на грубую и крепкую свою фигуру, как обычно, подкралась к Сергею бесшумно. – Все о немке своей страдаешь, паря? – хохотнула медсестра коротко и присела рядом с Ляминим на все еще теплый валун, довольно больно ткнув парня в бок. – Зря! Падлой буду, зря! Ты, мальчишечка, не думай, раз усагый пахан откинулся, значит, все можно стало: что хочу, то и пишу, о чем хочу, о том и думаю? Кукиш с маслом, Сереженька. Кукиш с маслом... – деваха неожиданно вскочила, покружилась вокруг Сергея, словно старая сука, выбирающая место, где бы блевануть, вновь присела с ним рядышком и вдруг заплакала в голос, по-баби безутешно...

– Ты прости меня, Сереженька, прости, ненаглядный мой... Видит Бог, я и сама толком теперь не пойму, как такое могло случиться... Прости... – она уткнулась опухшим и красным от слез лицом ему в подмышку и затихла.

– Да что случилось-то, что на рев исходишь? – Лямин даже коротко погладил медсестру по жирным, давно не мытым рыжеватым волосам. Та, перехватив его ладонь, обмочив ее слезами, прижалась к ней щекой и тихо выдохнула:

– Я тебя, мой миленок, в стире, в очко проиграла... Подруге своей... Маруське, значит...

Лямин отстранился от рыдающей Тамары, внимательно, словно впервые, разглядывая черты ее лица, и глухо, даже как бы равнодушно, поинтересовался:

– Ну, и во сколько ты меня, Тома, оценила? Сколько на кону лежало, спрашиваю?..

– Водки бутылка, да пять пачек «моршанской», – голос ее стал тихим и виноватым.

– Уходи, курва. Уходи, прошу тебя... По-хорошему прошу... – Он отвернулся и закурил, равнодушно вглядываясь в темную прохладу северного озера. Руки его, сильные узловатые пальцы аккуратно и не спеша, на мелкие кусочки рвали так и недописанное им письмо. Вялыми лепестками падали обрывки на воду, скоро промокали и, колыхаясь, тонули, растворяясь в зеленоватой глубине... За его спиной зашуршала трава – Томка успокоилась и ушла... Оно и понятно, хоть и светло, а уже ночь давно... Спать хочется...

– А у нас тут, Эльза, белые ночи... Мечта, а не ночи, вот разве что соловьи не поют... – не к месту прошептал Сергей, чуть слышно, с отчаянной тоской в севшем голосе и, оттолкнувшись от валуна, скользнул в воду. Тело сковало холодным панцирем, но он шел в глубину, понимая, что через несколько шагов с последним вдохом всё это отлетит, растворится в тёмной воде, как и невыносимая боль того унижительно-го рабства, в котором он оказался.

...А за высокими, в рост человека, кирпичными, увитыми пестрыми плетями девичьего винограда и резным плющом стенами небольшого пансионата для престарелых при Кельнском соборе Святых Петра и Марии, царила тихая степенная осень. Пожухлые листья корявых древних сливовых деревьев с махорочным треском, шурша на ветру, опали на узкие песчаные дорожки, приоткрывая сизовато-восковые пятна переспевших плодов. Одичавшие розы лишь изредка несли на своих узловатых шипастых ветвях изысканные цветы древней селекции. А белого мрамора фонтан в виде кающегося грешника, так и не ожив со времен войны, потемнел и поскучнел с годами... И лишь иногда под вечер тишина старинного сада отступала под тяжелыми басами главного соборного двадцатичетырехтонного колокола Петера, да вторивших ему более мелких – Специозы и колокола Трех королей...

– Фройляйн Эльза, фройляйн Эльза...

Из полураспахнутой высокой и резной двери выглянула в сад молоденькая, смешливая, рыжеволосая девчушка в строгой накрахмаленной форме сестры милосердия.

– Господа, вы не видели случайно фройляйн Эльзу? Она уже на четверть часа опаздывает на вечерние процедуры. Дежурный врач господин Райцейнштейн сердит необычайно! – зачастила сестра милосердия, заметив на ближайшей скамейке двух стариков, увлеченно играющих в карты. Один из них, худой до болезненности, снял нитяные перчатки и сбросил карты, записал что-то в тетрадку большим толстым карандашом и лишь потом, ткнув кривым суставчатым пальцем куда-то в глубину сада, проскрипел надтреснутым голосом:

– Вы, фройляйн Марта, служите у нас уже более двух недель, а до сих пор не можете запомнить, что из всех пациентов нашего пансионата только три человека посещают сад после ужина: это мы с Генрихом и фройляйн Эльза. Мы играем либо в карты, либо в шахматы, а фройляйн Эльза обычно сидит на скамейке в розарии, курит и слушает вечерние колокола... Она любит слушать колокола. Если мы играем в карты, то сидим на этой скамейке – здесь светлее, если в шахматы, то возле фонтана... А фройляйн Эльза всегда на одном и том же месте... Она вообще очень странная женщина, эта фройляйн Эльза... Вот если бы... Куда же вы, фройляйн Марта, я же еще не закончил...

– Да, да, господин Греб, – заторопилась девчушка, сделав чуть заметный реверанс. – Я обязательно вас выслушаю в следующий раз и все запомню: кто, где и когда сидит... Но сейчас я необычайно тороплюсь! – она скрылась из виду, но еще долго среди деревьев был слышан ее смех, который прекратился, а вернее сказать, просто перешел в громкий, испуганный крик:

– Фройляйн Марта, что с вами!? Вы живы!?

Хрупкая, совершенно седая старушка, в легком клетчатом пальто и странного вида шляпке с потрепанной вуалькой, запроваленной на поля, и в самом деле сидела на скамье розария, вольно откинувшись назад. Широко распахнутыми, немигающими, блекло-голубыми глазами она, казалось, удивленно разглядывала побледневшую сестру милосердия, опустившуюся перед ней на колени и безрезультатно пытающуюся почувствовать биение пульса на тонком в кости запястье фройляйн Эльзы.

– Я же вам говорил, деточка, – вновь заскрипел голос спешно подошедшего старика – Странная она женщина, эта фройляйн Эльза, даже умерла и то не так, как полагается...

– Как полагается... – прикрыв ладошкой рот, медсестра пораженно взглянула на старика и с криком «Господин Райцейнштейн, беда! Беда, господин Райцейнштейн!» бросилась к дому.

– Что это с ней!? Неужто усопших ни разу не видела? – хмыкнул старый Греб, проводив недоуменным взглядом убежавшую и, наклонившись, опытно, одним движением ладони прикрыл глаза покойной. – Так-то, пожалуй, лучше будет, фройляйн Эльза. – бросил он чуть слышно и, тягостно выдохнув, присел рядом с покойной.

На стене, заросшей девичьим виноградом и плющом, на фоне темно-фиолетового с багровыми полосами заката удивительно яркими белыми пятнами горели два голубя с мохнатыми лапами и радужными бусинами глаз.

– Почтари... – шепнул старик и замолчал, впитывая поплывшие над садом тяжелые и густые звуки колокола.

Сумерки постепенно сгущались и уже вряд ли кто смог бы прочесть, даже если б попытался, на выпавшем из рук старушки грязном и истоптанном каблуками ортопедических ботинок господина Гребя фотоснимке зачитанные до блеклости строчки, когда-то так заботливо выведенные химическим карандашом.

СПРАВКА

Выдана фройляйн Марте Берг ефрейтором отдельной разведроты Ляминым на предмет предъявления всем работникам советских коммандатур для свободного возвращения ее домой в пригород Кельна, имение Hoffmann. Фройляйн Марта Берг последние три года служила у баронов Hintergrund Der schwarze Storch горничной, а значит, может быть приравненной к пострадавшим от мирового капитализма.

28 апреля 1945 г., ефрейтор Лямин

КОЛЬКА ЕЛАБУГА ИЛИ ДИВАН С ФОТОГРАФИЯМИ



Колька Елабуга (по его словам он родился в этом татарском городе, отсюда такая уличная кличка) жил у нас на улице, в старом шлакоблочном доме, который построил его отец, покойный Мустафа Михайлович. Мать у Кольки давно умерла, поэтому когда-то женатый, а теперь разведённый Колька проживал совершенно один. В прошлом он работал на заводе тяжёлых станков, считался неплохим лекальщиком, но однажды, три года назад, в цехе обвалилась стена (чёрт его знает, отчего она обвалилась!), Кольку засыпало кирпичами и здорово покалечило. Полтора месяца он провалялся в больнице, откуда вышел со второй группой инвалидности и полным отсутствием жизненных перспектив на продолжение своей профессиональной деятельности. Больше того, поскольку был он мужиком простым, глупым и доверчивым (а такие нашим сегодняшним, насквозь прагматичным обществом серьёзно не воспринимаются), то легкомысленно поддался на уговоры начальника цеха, пообещавшего ему райские кущи и прочую сказочно обеспеченную жизнь, для которой нужно было всего-то подписать бумагу с отказом от того, что Колька травмирован именно на производстве. Начальник ходил к нему в больницу почти каждый день,

приносил большие пакеты с разной вкуснятиной и обязательно с бутылкой, демонстрировал скорбно-несчастную морду лица, вздыхал, зачем-то крестился и вообще чуть не в ногах у Кольки валялся. В конце концов тот, тронутый такими искренними заботой и вниманием, отказ подписал, и таким образом получил инвалидность по общему заболеванию, что никаких дополнительных льгот, положенных при травме на производстве, ему не давало.

– Дубина ты стоеросовая! – говаривали мы ему уже потом, когда узнали всю эту откровенно гнусную историю. – Твой начальник свою ж...пу этой бумагой прикрывал – и прикрыл-таки, паскудник, добился своего! А если бы ты на его сказки не купился и ту бумажку не подписал, то и пенсия бы у тебя сейчас была как по производственной травме, а значит – о-го-го какая, и завод бы тебя обязан был содержать всю твою оставшуюся дурацкую жизнь.

– Да ладно вам! – дурашливо улыбался в ответ Колька. – Сергей Игоревич – во какой мужик! – и поднимал вверх неудачно сросшийся после травмы и поэтому не разгинавшийся до конца указательный палец.

В общем, дальше всё происходило так, как и должно было происходить: после того, как Колька подписал бумагу, на заводе его тут же напрочь забыли, а «во какой мужик» при случайных встречах делал теперь уже не жалостную, а этакую непонимающую морду лица и на наивные колькины вопросы об обещанных райских куцах, кисельных реках и молочных берегах вертел кучерявой головой: дескать, о чём вы, милейший, говорите? Какие деньги, какие льготы? Обращайтесь в горсобес, вы теперь их клиент, а мы здесь совершенно ни при чём, вообще знать вас не знаем, фамилия ваша для нас ничто и зовут вас для нас совершенно никак!

– Это называется «полнейший пролёт фанеры над Парижем», – доходчиво объяснял Кольке его сегодняшнее незавидное положение сосед Иван Иванович Прохоров. – Тебя же, дурака, предупреждали – не ведись на эти песни! А ты повёлся. Ну, вот теперь и получи по полной схеме.

Колька дурашливо-растерянно улыбался, но лицом темнел. Он очень не любил, когда его грубо и, даже можно сказать, внаглую обманывали. Нет, он не любил, когда обманывали и втихаря, но такие обманы переносить было всё-таки как-то легче. Колька считал их даже не обманами, а этакими досадными недоразумениями. И хотя хрен редьки не слаще, это внутреннее самоуспокоение (ну, лопухнулся! С кем не бывает!) все-таки как-то смягчало неприятные «пинки судьбы».

– Может, морду ему набить? – спрашивал он Ивана Ивановича. Тот в ответ удивлённо поднимал вверх свои кустистые брови: а за что? За

то, что хитрее тебя оказался? Так за это наказывать глупо. Жизнь – такая штука: кто хитрее, тот и на коне. Да и чего толку-то, если отметелишь? В ментовку загребут, дело заведут и не посмотрят, что ты – инвалид.

Колька маялся обидой месяца два. А потом душевная боль притупилась, уступила место всё той же досаде. Пришла пора рассуждать здраво: ладно, свалил дурака – чего ж делать? Жить надо продолжать. Несмотря ни на каких уродов с их сладкими песнями.

А жить было ради чего! Была у Кольки давнишняя мечта – приобрести себе персональный шикарный диван. Он видел такие в мебельном салоне. Не диваны, а сплошная сказка! Широченные, с резными боковинами, обшитые каким-то ажурным материалом, в который влетены фантастические картины, с широкими ножками и широкой откидной спинкой. Колька, помнится, там, в салоне, при виде такого великолепия едва-едва подавил в себе желание немедленно плюхнуться на одно из таких «произведений искусства», потому что если бы плюхнулся, то всё – ни одна сила его с него не подняла бы. Никакая магазинная охрана, никакие милиционеры с пистолетами и автоматами! Колька бы лучше умер на сказочном ложе, лишь бы словить напоследок такой огромный душевный кайф.

Нет, такой сказочный диван можно было запросто приобрести и сейчас, но на какие шиши? На пенсию особенно не разгуляешься, наше государство чётко, до последней копейки подсчитало-просчитало, сколько тебе, пенсионеру, надо, чтобы ты заткнулся и не вякал со своими минимальными жизненными потребностями, и диван в эти потребности, конечно же, не входил. Это был предмет роскоши, поэтому, миль пардон, мадам, здесь вы опять пролетаете, как всё та же парижская фанера.

– Да, удобный диван – важное дело, – соглашался с ним Иван Иванович. – Особенно когда на пенсии. Лежи себе хоть целый день, почёсывайся, жмурься, да в телевизор пьялься. Красота! А ты знаешь что? Ты на стоянку сходи. Да, которая здесь вот, на повороте! Может, возьмут сторожем или подметалой. Больших денег там, конечно, платить не будут, но всё ж какая-никакая копейка...

– Да ходил... – махал рукой Колька.

– Ну и?..

– Сказали – своих алкашей хватает... Рожа, что ли, у меня такая, алкашеская? Только взглянут – и сразу обзывать...

– Суки, – соглашался сосед. – Можно подумать, сами боярскогословия. Всё никак не нажрутся – не нахапаются. Ленина надо на этих поганых бизнесменов поднимать. А лучшей Сталина с Берией.

Через неделю сосед прибежал к Кольке в очень возбуждённом состоянии.

– Пошли! – заорал прямо с порога. – Диван тебе нашёл! Такой как ты хотел!

– Как нашёл? – вскочил со своего продавленного топчана Колька и начал суетливо натягивать на ноги вытянутые на коленках, выцветшие «треники». – Где?

– На помойке!

– Где?!

– За «Фрегатом», на помойке! – возбуждённо повторил Иван Иванович. – Иду мимо, смотрю – выбрасывают! Подхожу, спрашиваю: ребята, этот диван можно забрать? Отвечают: забирай, пока он цел! Ну, чего ты телишься? Сейчас тележку возьмём и притащим! Я попробовал поднять – тяжёлый, зараза! Надо вдвоём!

Успели вовремя: на шикарный диван, как раз такой, о котором Колька и мечтал, уже приноравливались взгромоздиться какие-то двое бродяг.

– Кыш отсюда! – заорал Иван Иванович страшным голосом. – Развелось вас, тварей!

Бродяги обиженно буркнули, но с дивана тут же слезли. Они были умными людьми и знали толк в своей бродяжьей жизни.

– Ну? – спросил сосед. – Как?

Колька в ответ развёл в стороны руки: нет слов. Высший класс! И помирать не надо!

– Давай грузить, – деловито сказал Иван Иванович. – Нечего тут прохлаждаться.

Он нагнулся, схватился за боковину – а она вдруг неожиданно поехала вверх, обнажая диванное нутро.

– Ты гляди! – удивился сосед. – Аппарат-то с секретом! А здесь что такое?

Он сунул руку в открывшуюся щель и вытащил оттуда нарядный, с плюшевой обложкой, альбом для фотографий.

– Хозяева забыли! – догадался он. – Ну и что? Искать их теперь, что ли?

Колька с любопытством сунул нос в фотоальбом и тут же наткнулся на знакомое лицо.

– Сергей Игоревич! – опешил он.

– Знакомый, что ли?

– Знакомей не бывает! Наш начальник цеха! Ты гляди, Иваныч, а вот цех наш! А вот, смотри, я в заднем ряду! Это нас для газеты фотографировали. Когда мы план дали на сто пятьдесят процентов!

Колькиной радости не было предела, однако сосед её не оценил, мельком и равнодушно глянул на фотки.

– Это вот этот, очкастый, и есть твой начальник цеха? Который тебя с пенсией бортанул?

– Ага. Он, сучара! – торжество Кольки было действительно беспрельдно, хотя чему он так радовался – совершенно непонятно. Вот чудак!

– Чего с ним делать-то?

– Да выкинь! – посоветовал Иван Иванович (и был, конечно, прав). – Экая находка!

– Да? – вдруг растерялся Колька. – Как-то это не то...

– Чего не то? – не понял сосед.

– Ну, выбрасывать... Жалко. Они же наверняка забыли его тут...

– И чего теперь?

– Может, отнести? Он здесь недалеко живёт...

Иван Иванович внимательно посмотрел на Кольку, потом энергично повертел пальцем у виска.

– В благородство решил поиграть? – ехидно осведомился он. – Ну-ну, поиграй, отнеси... Может, на пузырь заработаешь.

– Да при чём тут пузырь... – растерялся Колька. – Это же фотографии. Память! Мы же тогда план на сто пятьдесят... Не надо мне никакого пузыря! Хотя...

– Тогда вдвойне дурак! – ответил сосед (какой же он правильный, господи! На сто метров под землю видит! Как же Кольке повезло!)

– Всё правильно: на таких, как ты, все, кому не лень, всю жизнь воду возят. И правильно, между прочим, делают! Потому что дураков надо учить!

Последние слова он чуть не выкрикнул, причём с таким надрывом, словно это не Кольку, а его горько проучила жизнь.

В этот день Колька альбом так и не отнёс: когда они с соседом притащили в его жильё помоечную находку, после установки и опробывания (красотища! Сто баллов!) , конечно же, не обошлось без обязательной «обмывки» (а то сломается! Наверняка! Железная примета!) – и тут уж было не до альбома. На следующее утро усиленно похмелились – и опять неудачно (в том смысле, что с перебором), а на третий день, когда и деньги кончились, и в долг никто уже не давал (да и подо что им, алкашам, давать? Под какие-такие доходы?), все-таки вспомнил, решил отнести, может, даже и выпыганить на законный пузырь – но альбом как сквозь землю провалился.

– Может, мы его там, на помойке, забыли? – растерянно бормотал Колька, похмельно облизывая сухие губы и бестолково оглядываясь вокруг.

– Может, и забыли, – пожал плечами Иван Иванович. – Эх, балбесы...
Всё у нас не как у нормальных людей...

На всякий пожарный, больше для самоуспокоения, сходили на помойку, но какое там... И баки стояли пустыми, и всё, что вокруг них, ни на какой альбом даже и не намекало.

– Ну и х... с ним! – махнул рукой Иван Иванович. – Главное – диван добыли! А похмелиться сейчас у нас будет! – и кивнул на валявшийся у крайнего помоечного бака моток алюминиевой проволоки, который нужно было срочно сдать в пункт приёма цветмета...

– Да где-то здесь он, – сказал Колька. – Куда-нибудь сунули по пьянке... – и вдруг, словно опомнившись, полез за шкаф.

– Я же говорю! – раздался его торжествующий крик. – Вот он! Я его сам сюда засунул, чтобы он не потерялся! Нет, Иваныч, ты как хочешь, а я схожу.

– Сходи, сходи, – неожиданно согласился тот и хмыкнул. – Горбатого могила исправит. Может, поднесут от такой радости.

А ведь прав был сосед: чего я попёрся, с неожиданно подступившей тоской подумал Колька, нажимая кнопку звонка. Опять же такой духманище от меня прёт, что... Надо было хоть зубы почистить. А зачем? Чего я, в гости к ним, что ли, напрашиваюсь? Я им их имущество принёс!

Он хоть и ожидал, что дверь откроют, но когда замок щелкнул, всё же невольно вздрогнул. Перед ним стояла аккуратненькая, подслеповато щурившаяся старушка и вопросительно-внимательно вглядывалась в него.

– Здрасьте, – вежливо сказал Колька, стараясь не дышать на неё. – Такое, бабуля, дело... – и достал из сумки альбом. – Не ваш, случайно?

Бабка, ещё сильнее сощурившись, осторожно взяла альбом в руки, провела по нему иссохшими, в буграх, морщинах и перевязках вздутых вен пальцами, похожими на крючки, и вдруг радостно заахала, узнавая.

– Нашёлся! – неожиданно звонким голос воскликнула она. – Серёжа!

– Что? – послышался из глубины квартиры недовольный знакомый голос, и Колька непонятно почему оробел.

– Альбом нашёлся!

В ответ раздалось ироничное хмыканье. Дескать, тоже мне, радость какая...

– Да выйди же! – недовольно крикнула старуха (похоже, в молодости она была очень властной женщиной, но к старости эту властность подрастеряла). – И кошелёк неси! Надо же отблагодарить человека!

– Да ладно, чего там... – смущённо пробормотал Колька. – Нашёл и нашёл... делов-то... Не надо ничего.

В эту минуту из комнаты, наконец, показался его бывший начальник, Сергей Игоревич, собственной персоной.

– Тугаев? – опешил он. Колька готов был провалиться под землю. Вот чудак этот «Серёжа»! А кто же ещё?

– Я... – отозвался Колька и быстро кивнул на альбом. – Вот, вещь вашу нашёл. Совершенно случайно! – быстро добавил он, чтобы Сергей Игоревич не подумал чёрт знает чего. – В диване, на... – он запнулся, – У мусорных баков. Забыли, наверно, когда выкидывали.

– Что? – спросил Сергей Игоревич. – Ах, да... Забыли, конечно! Да! Спасибо!

Он, судя по всему, тоже ощущал неловкость.

– Вот, пожалуйста! – и протянул Кольке серьёзную бумажку. – Спасибо, так сказать! Ма, чего ты-то молчишь?

– Да-да, спасибо большое! – тут же с жаром поблагодарила старушка, прижимая альбом к груди. – Это же для нас такая ценность! Память! Вся, можно сказать, жизнь! Серёжа, отблагодари человека!

– Уже, – сказал Сергей Игоревич и закаменел скулами.

– Это точно, – неожиданно усмехнувшись, подтвердил Колька. – Отблагодарил. Бывайте здоровы. Больше не теряйте.

Странно, но сейчас у него было такое чувство, словно они поменялись местами, и это не он, Колька, так наивно купился на лживые обещания и заверения, это не его бесстыдно обманул человек, мнущийся перед ним и не знающий, что сказать, а словно он сам, Николай Муштафович Тугаев – обманщик и хитрюга, готовый ради собственного благополучия и спокойствия шагать по головам.

Не в своей тарелке был и Сергей Игоревич, он вдруг ссутулился, словно стал меньше ростом, и взгляд у него стал как у собаки, ожидающей побоев.

– Ладно, пойду я, – сказал Колька. – До свидания, Сергей Игоревич.

И даже не пошёл – сбежал вниз по лестнице. Ему вдруг очень захотелось как можно быстрее оказаться на улице.

АЛЕКСЕЙ КУРИЛКО (УКРАИНА, КИЕВ) ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ...



Еду к отцу, чтобы сообщить ему о том, что он уже полтора года как дедушка. Автобус переполнен. Сначала меня прижимают к пышногрудой брюнетке с небольшими усиками, затем между нами вклинивается старичок. Старичок суетлив и поношен. Жарко. За окном мелькает весенний пейзаж городского типа.

О предстоящей встрече с отцом я стараюсь не думать. Отца в своей жизни я видел трижды. Первый раз – в день своего рождения, из окна роддома. Эту встречу я не помню. Второй раз на похоронах его матери, в третий – на похоронах моей матери. Все три встречи были связаны с печальными событиями. Теперь у меня родился сын, так пусть мой отец тоже будет в курсе. Правда, я несколько запоздал с этой новостью. Но ведь и меня поставили в известность всего пару месяцев назад.

Итак, я еду и стараюсь не думать обо всем этом, и тут вдруг чувствую – кто-то лезет в боковой карман моей куртки. Я особо не нервничаю. Я стою, мне, кроме жизни, терять нечего. Я с сожалением отвожу взгляд от бюста усатой брюнетки в сторону и вниз и – точно! – вижу чужую руку в моем кармане. Хозяин руки – парень моих лет, красивый, упитанный – печально смотрит в окно и весь его вид внушает доверие.

Я чуть наклоняюсь к парню и, чтоб никого не нервировать, едва слышно шепчу ему на ухо:

– У меня ни копейки.

– Seriously? – спрашивает он без тени смущения.

– Клянусь.

– Ну, извини.

Он оставляет мой карман в покое и разворачивается ко мне спиной.

Интересно, думаю я, а что будет, если я залезу к нему в карман. Вот ведь, как гостеприимно он оттопырен. Нужно действовать! Во-первых, в виде эксперимента: почувствует ли он? Во-вторых, мне нужны деньги не меньше, чем ему. И главное, с воспитательной целью. Пусть послушает ему уроком.

Моя рука с дилетантской дрожью лезет в карман профессионала.

Парень, не поворачивая головы, говорит:

– Братан, я тоже пустой.

Теперь приходит моя очередь извиняться. Забавно.

Через остановку я выхожу и направляюсь к «зебре», чтоб перейти на ту сторону.

– Братан! – слышу я сзади.

Передо мной тот самый парень.

– На, – говорит он и протягивает мне десятигривенную купюру. – Возьми.

– Спасибо, – отказываюсь я.

– Бери, чего там!

– Не надо, – говорю, – обойдусь.

– Ну...

Он явно обиделся. Прячет деньги в карман и уходит.

– Подожди! – кричу.

– Ну?

– Давай, – говорю, – только добавь еще пятерку.

А то, думаю, ни то ни се. А пятнадцать будет в самый раз. И на закуски хватит. Хорошо. Не с пустыми руками приду к родителю.

Парень недовольно качает головой, но требуемую сумму дает. Я интересуюсь, давно ли он этим занимается. Он отвечает, что это не моего ума дело. На этом мы расстаемся.

В магазине я покупаю банку шпрот, бутылку хорошей водки и пачку сигарет и направляюсь напрямик к дому отца.

Перед домом я останавливаюсь, чтобы собраться с мыслями. Все-таки сегодняшняя встреча должна стать переломным моментом в наших отношениях. Я его сын, во внутреннем кармане моей куртки лежит бутылка водки, в заднем кармане брюк – фотография его внука. Надеюсь, что буду принят благосклонно. Другое дело, если это будет лишь видимое радушие и гостеприимство. Мало ли! Я-то никаких претензий к нему не имею. Он дал мне жизнь, свою фамилию и восемнадцать лет платил алименты. С философской точки зрения это немало.

В подъезде бесшумно ругаются глухонемые. У одного во рту почти все золото Клондайка. Второй как две капли воды похож на мою первую учительницу.

Лифт поднимает меня на шестой этаж. Квартира девяносто четыре. Звоню. Дверь открывает незнакомый мужчина в спортивном костюме и прыщах.

– Здравствуйте.

– День добрый.

– Леонид Михайлович дома?

– Кто? Бывший хозяин, что ли? Он умер.

– Вы не пугаете? Курилко Леонид Михайлович...

– Умер. Точно. Месяцев семь назад.

Наступила минута неловкого молчания.

– От чего он умер? Впрочем... извините...

– От чего сейчас умирают? От водки, наверное.

Я прощаюсь, разворачиваюсь и вызываю лифт.

Глухонемые продолжают свой спор. Я показываю им бутылку и они оба радостно кивают в ответ. Я жестами объясняю, дескать, не из чего пить – посуды нет. Золотозубый показывает, что согласен пить из горла. Второй, с внешностью первой учительницы, стучит пальцем по лбу. Видимо, это означает: «А голова на что?»

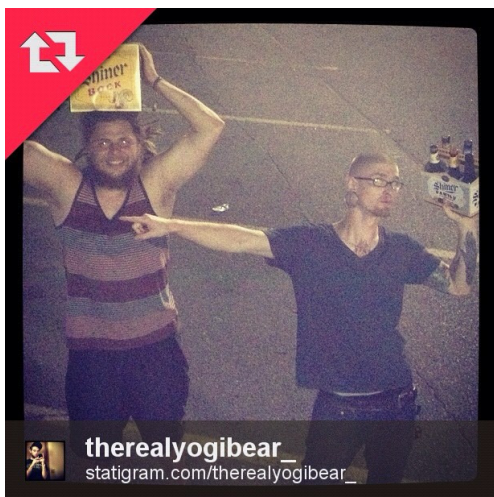
Мы выходим из дома и располагаемся на первой же свободной лавочке, я пускаю по кругу водку и сигареты.

Через десять минут золотозубый отправляется за второй бутылкой.

После второй, я им говорю (почти кричу, потому что мне кажется, что они уже начинают слышать):

– Человек рождается один. Это начало. И умирает человек один. Это конец. Так какого хрена между двумя этими событиями человек пытается к кому-то прицепиться? Жить следует в одиночестве. Он правильно жил. Правильно! Вот он умер, так? Сильно я опечален? Ну так, совсем чуть-чуть. А знай я его лучше, ближе?.. Проживи я с ним бок о бок двадцать пять лет?.. Да я бы с ума сходил от горя!

Незаметно приближается вечер.



Утром меня разбудила зубная боль.

Зуб этот тревожил и раньше – в последний раз накануне вечером – но то была терпимая боль, ноющая, ненавязчивая... К ней я скоро привыкал и мог игнорировать. В крайнем случае, награждал ее каким-нибудь дешевым обезболивающим.

Теперь же боль, возмужав, искажала лицо и пронзала тело насквозь.

Целый день я провел в невероятных муках и в безуспешном самолечении.

Бомбил воронку проклятого зуба таблетками анальгина, придавливал ломтиком сала, полоскал содой, травил никотином и даже пытался замаливать, боюсь, что если боль пройдет, то брошу курить и заниматься онанизмом.

Боль не проходила.

Я то метался по квартире, то, свернувшись калачиком на диване, покачивался из стороны в сторону, стараясь убаюкать зубную боль.

Ближе к вечеру, часам к семи, за мной зашел Брюховецкий. Принес голубцы в литровой банке. После смерти матери, с пятнадцати лет я жил один и Брюня время от времени – вот уже четыре года – подкармливал меня.

– Похавай, – сказал он, – и пойдем прогуляемся.

Я знал, что скрывается за этим безобидным предложением. Прогуляться – означало обычно ходить по улице и провоцировать крутых на драку.

В середине девяностых крутых было много. В кого ни плюнь, все крутые, все бригадные...

Редкий вечер обходился без драк.

Местная братва неоднократно делала нам замечание. Старшой их, Куренной, говорил, – дескать, вашу мать, пацаны, что за беспредел вы на районе устраиваете? Что ни день – инцидент, а то и несколько. Без понятий, внаглую, кого попало... Тупо! А главное, говорит, себя пожалейте. Ведь рано или поздно нарветесь! Либо завалят вас, либо менты закроют. Оно вам надо? Некуда энергию девать? Скажите, мы найдем ей куда более практичное применение. Вопросы есть?

Вопросов не было. Слегка оправдываясь, мы виновато кивали, каялись...

Пару дней мы держали себя в рамках приличий. Дышали тише мышат. Потом что-то вдруг обязательно случалось. Кто-то нам что-то не то сказал, как-то косо посмотрел, зацепил... Ну, и понеслась!.. И на следующий день, и на следующий... Что тут скажешь? Ну, не любили мы, терпеть не могли всех этих модных и крутых, всех этих псевдоавторитетов в дорогих шмотках и с дешевыми понтами.

Но на сей раз я Брюне сказал:

– Не могу. Зуб болит.

– Зуб? – переспросил Брюня и показал кулак, – Давай выбью.

Брюховецкий, в отличие от меня, парень здоровый, накачанный. Кулак его с мою голову. И юмор у него, соответственно, тяжелый, грузный такой.

– Иди ты в жопу, – говорю. – Я серьезно. Боль такая, прямо хоть с балкона сигай.

– Тогда сначала ко мне. Я тебе такую таблетку дам – любую боль как рукой снимает.

Звучало это убедительно, а может, мне просто очень хотелось в это верить. Я накинул кожаную курточку, кепчонку...

Брюховецкие жили в соседнем подъезде на последнем этаже, в большой четырехкомнатной квартире.

Мы отправились, по своему обыкновению, через крышу.

Мы вошли, и не успел я оглянуться, закрывая двери, как Брюня исчез в неизвестном направлении. Минут пять я потоптался в прихожей, а затем отправился на его поиски.

Родня его была в полном сборе. Мать, прижав плечом телефонную трубку к уху, препарировала на кухне полудохлую рыбу и обсуждала с подружкой последний роман Лукьяненко. Дед в бабушкиных очках

вычесывал на балконе блох у Ральфа – лохматого беспородного пса. Отец в гостиной, развалившись на кушетке с пультом в руке, безостановочно перелистывал телеканалы и ворчал, что по выходным смотреть нечего. Рядом сидела в кресле бабушка и тихо недоумевала о том, куда все подевались: и ее очки, и телефон, и бабушка.

Никто из них не обращал на меня особого внимания. Только дед буркнул что-то, то ли «опять ушла блоха», то ли «блядь, нашли лоха».

Слоняясь по квартире, я даже заглянул в детскую. Иванка – девчонка лет пяти – рисовала, напевая по своему обычаю на несуществующем языке:

– Клонзя блитке торчи, ляпки жопля скло-о-ось, сюскадраскли спорли, о-о-ось!

– Что ты рисуешь?

– Это... такая... – запинаясь отвечала Ивана, склонив голову набок. – Ну, это такая... абстракция...

Я, заинтригованный, подошел ближе.

– Какая же это абстракция? – спросил я несколько разочарованно. – Это же трактор.

Подумав, Ивана согласилась:

– Да, это такой... абстракттор.

– Потрусаяючи! – сказал я так, как это слово произносила сама Ивана.

– Не потрусаяючи, – поправила та, – а потрусаяюще!

– Изюмительно!

– А давай поиграем в одну игру, – предложила Ивана.

– В какую? – я присел около нее на корточки.

– В игру «Девочка и вентилятор».

– Научи.

– Уф, ну и жара! – воскликнула она и, ткнув пальчиком в мой нос, приказала, – Дуй!

И подставила лицо, прикрыв карие глазки.

Я дунул.

– Еще, еще! Уф, ну и жара! Аж сердце разрывается!

– Это и вся игра?

– Дуй!

– Мне надоело, Ивачка. Я больше не хочу быть вентилятором. Это грустно. Грустно быть вентилятором.

– Но ты вентилятор!

– А ты кто?

– А я нажала!

– Изюмительно! А другая игра есть?

– Давай в «Девочку и лошадь»! Ты какой будешь лошадыю?

– Не знаю даже. Ну, допустим... такой... белой в серых яблоках.

Ивана растерянно захлопала ресницами.

– В яблоках не бывает... В яблоках только черви бывают.

– В общем, да.

Дурацкие игры, подумал я. Хотя... Хотя почему дурацкие? Помню, в детстве моей любимой игрой было «Из последних сил». Играл я в нее один. Долго перестреливался с воображаемым противником – Черным Биллом, к примеру – пока тот не попадал мне прямо в сердце. Истекшая кровью, я падал на пол, открыв рот и закатив глаза... Черный Билл, глумливо усмехаясь, подходил ко мне... И тут я, из последних сил, игнорируя пулю в сердце, стрелял Черному Биллу в лоб. Да еще говорил что-нибудь напоследок, «вот мы и в расчете!» или просто «умри, сука!»

Я вернулся в прихожую. Появился и Брюня.

– Куда ты пропал? – спросил он раздраженно.

– Тебя искал.

– А я тебя. На, держи! – он протянул мне на ладони таблетку – Глотай! И пойдем, мать хлеба просила купить.

– Ну, прошел зуб? – спросил Брюня на улице, когда мы подошли к коммерческим ларькам.

– Так рано еще, минут пять только прошло. А чего мы сюда? Тебе же за хлебом...

– Курить охота, а сигарет хрен целых ноль десятых. Мать, правда, дала десятку..

Саша пригнулся к окошку.

– Манюня, дай пачку сигарет в долг. Мы тебе после первого же удачного грабежа отдадим.

– Ты за прошлое верни, – послышалось из окошка.

– Манюня...

– Никаких манюнь!

Брюня обреченно вздохнул.

– Ох, и курва ты, Манюня...

В этот момент подъехал черный бимер. Из машины вылезли трое здоровых парней, один другого страшнее.

Выразительно посмотрев на меня, Брюховецкий отошел на пару шагов и, запрокинув голову, принялся внимательно изучать нечто на темнеющем небе, изредка бросая короткие взгляды в нашу сторону.

Парни подошли. Стали что-то покупать. Я у одного, самого небритого, спрашиваю:

– Сигареткой не угостите?

Он глянул на меня и презрительно выщедил:

– Свои надо иметь.

А, черт, думаю, начинается. Ну, чего не угостить? На крайний случай, почему нельзя отказать вежливо, культурно...

– На свои, – говорю, – денег нет.

– Заработай... – реагирует он в ответ так же презрительно, но уже даже не глядя.

– А вы бы научили меня – как. По вам сразу видно – работяги... Прямо заслуженные ветеринары труда!

Все трое уставились на меня, явно не понимая, что собственно происходит. Кто я? Чего хочу? Как смею?

А высокий такой, самый высокий, говорит:

– Чо те надо?

– Ничо.

– Так чо ты хочешь?

– Ничо.

– Те чо, п...ы дать?

– А у вас есть?

Все. Дальше терпеть они не намерены. Они ведь уверены, что физическое преимущество полностью на их стороне. Подобная самоуверенность исключает элементарную осторожность.

– Да ты задолбал! – сообщает небритый и, шагнув вперед, бьет меня в глаз.

Первый удар не страшен. Он наносится обычно для проформы. Он рассчитан исключительно на то, чтоб поставить меня, дерзкого щенка, на место. Они убеждены, что я всего лишь неприятное недоразумение, которое легко устранить.

Нет, первый удар не страшен, но как он важен для меня. После него мне их не жаль. Он усыпляет во мне остатки искалеченной совести и будит агрессию по отношению к этим козлам.

Ах, вы драться лезете, думаю я. Ну, хорошо...

И я вкладываю всю свою силу в прямой удар в край подбородка. Небритый, клюнув воздух головой, рушится, словно взорванный дом из военной кинохроники. Тут ко мне ломится высокий и даже успевает замахнуться, но мощнейший удар Брюни просто-таки уносит его в сторону.

Третий парень в полнейшей растерянности глядит на неожиданное «бородино», глаза его нервно аплодируют...

Саша медленно подходит к нему. Я знаю, он не станет его бить. Тот боится и уже совершенно раздавлен морально... В Брюне нет и капли жестокости, ему по душе драться с достойными, равными противниками...

– Хочешь мне что-то сказать?

– М-м... Нет...

– Твоя тачка?

– Да...

– Ну, так езжай...

Саня даже не злорадует, ему неинтересно... Он уже вновь склоняется к окошку ларька:

– Манюня, ну, дай нам пачку «Мальборо»...

– Как зуб?

– Болит.

– Тебе водки надо выпить.

– Не хочу я водки.

– Лучшее лекарство.

– Не хочу. Куда мы идем?

– В гастроном. Хлеб надо купить, забыл?

Оставив меня на парковой аллее, Брюховецкий ломанулся прямо через проезжую часть и нырнул в магазин. Я закурил. Затягиваясь, я надувал щеку, полоща зуб сигаретным дымом.

Вернулся он спустя минут пятнадцать, держа в руках бутылку водки, два пластиковых стаканчика и поллитровый пакет томатного сока.

Я спросил:

– А хлеб?

– Не хватило. На червонец особо не разгуляешься. Помни об этом.

– Так как же хлеб? – не унимался я, пока он разливал.

– Да что ты заладил – хлеб, хлеб!.. Не хлебом единым жив человек! – он протянул мне стаканчик, – Ведешь себя, как не знаю кто. Прямо вынь ему тут да положи! Хлеба и зрелищ!

Мимо продефилировали две крашенные блондинки. Так, ничего особенного.

Саня проводил их тоскующим взглядом и провозгласил:

– За проходящих здесь дам!

Выпили мы, запили тепловатым соком...

– Ты в реинкарнацию веришь? – спросил вдруг Брюня.

– Это когда после смерти твоя душа переселяется во что-то другое?

– Нет, в кого-то. Во что-то это полная ересь. Говорят, человек живет двенадцать жизней, а то и больше. Только он этого не помнит. Так, изредка, у кого-то всплывают какие-то куски в памяти, но он вкурить не может, что это за херня. Или там... сон приснится, только с реальной жизнью вообще никак не связан.

– Ну и что?

– Да вот... – он чуть замялся. – Мне вчера показалось, что в прошлой жизни... Показалось, что в прошлой жизни я был Александром Матросовым.

– Кем?

– Александром Матросовым.

– Это который грудью бросился на дот?

– Не совсем. Он вроде как ползком его... это... обогнул... Взобрался на него и, схватившись за дуло пулемета, направил его вверх, а наши, значит, поднялись и поперли в атаку. Это потом уже стали писать, дескать, он грудью на пулемет бросился. Только это глупо и бесполезно. Его бы в куски разорвало. Но звучит героически, – дескать, бросился на дот. Грудью прикрыл товарищей.

– Да, звучит эффектно. Наливай!

Саша повторно наполнил стаканчики.

– Так он что, выжил? – спросил я.

– Убили. Но самое опасное расстояние наши успели преодолеть без потерь.

– Стало быть, не зря парень погиб.

– Не зря..

– Ну тогда, – говорю, – давай выпьем за бессмертный подвиг Александра Матросова. Или даже за тебя! Мало ли..

Зубная боль заметно отпустила..

– Делаем так, – сказал Саня, – Допиваем эту отраву и шуруем к Соболеву. Во-первых, у него самогона всегда хоть залейся, а во-вторых – гитара.

– А хлеб?

– Что?

– Хлеб! Опять твоя мамаша скажет, что я на тебя плохо влияю.

– Так я и говорю! Шуруем к Соболеву, киряем и одалживаем бабло на хлеб. Магазин же до девяти. У нас еще час времени.

– Ох, что-то мне это не нравится.

Брюня осуждающе покачал головой.

– Знаешь, Леня, в чем твоя проблема? Все, что ты в жизни делаешь – правильно! Но! Как-то без огонька, без удовольствия, без энти... энтузиазма!.. Так словно оно тебе в тягость... Вот возникла безумная идея – идти к Соболеву. Вместо того, чтобы воскликнуть в неописуемом восторге: «Супер! Мы идем к Соболеву, у него самогон, гитара и деньги!» – ты начинаешь ныть: «Ох, что-то мне это не нравится»... Бла-бла-бла, ню-ню-ню...

– Может, у меня предчувствие.

– Да ну! Даже если у тебя предчувствие чего-то плохого, ты должен в неописуемом восторге воскликнуть: «Санек! У меня плохое предчувствие! Давай скорее шуруем к Соболеву!»

– Я разве отказываюсь?

- Я не говорю, что ты оказываешься.
- А что ты говоришь?
- Я говорю, что ты ноешь.
- Ты тоже ноешь по поводу того, что я ною. Это вместо того, чтобы в неописуемом восторге воскликнуть: «Супер, Ленья, ты опять ноешь!»
- Ладно, – рассмеялся Брюня, – поедем! Туда и обратно!
- Хилый ветерок немного оживил у ног траву..

Однако после Соболева, точнее после соболевского самогона под гитару, мы несколько ослабли. Брюня еще держался молодцом, а вот меня заметно покачивало.

К гастроному мы подошли без десяти девять, но он был уже закрыт.

– Что за беспредел! – возмущался Саня. – Еще десять минут, вашу мать!

Он разошелся, кричал, стучался... Безрезультатно. Разве что к стеклянной двери дважды подходила дородная женщина и грозила нам кулаком.

– Безобразие! – сказал Брюня и задумался. – Слушай, Ленья... А давай им витрину разобьем.

– Зачем?

– А зачем они закрываются на десять минут раньше? С несправедливостью следует бороться! Даже в мелочах!

– Согласен, только... при чем тут витрина?

– А мы при чем?

– В каком смысле?

– В прямом!

– Подожди, я потерял нить разговора.

– Меньше слов, – решил Брюня, – больше дел.

– Ну, хорошо.

Мы порыскали вокруг, нашли по убедительному бульжнику..

– Всякую несправедливость необходимо либо искоренять, либо – раз уже поздно – наказывать за нее.

– Кого же мы накажем в данном случае?

– Никого! Но! Мы дадим понять, что с нами так поступать нельзя. Витрина – ерундень! С одной стороны! Но с другой, витрина это мельница!

– Чего?

– Витрина это мельница, в которой... этот... как его? Дон-Кихот! Витрина – это мельница, в которой Дон-Кихот видел дракона.

– Саня, ты бухой.

– Не думаю. Ты готов?

– Да!

– Итак, кидаем и бежим, – предупредил Брюня.

Я кивнул.

Сердце слегка забеспокоилось. Я ощутил знакомое чувство тревожной радости или, если хотите, радостной тревоги.

Мы одновременно размахнулись и бросили свои камни. Они еще летели, а мы развернулись, но не побежали; спокойно, не спеша зашагали прочь. За спиной раздался звон.

Хотелось прокричать что-то нечленораздельное, просто набор каких-то диких звуков...

Метров через тридцать мы услышали позади себя:

– Эй, пацаны!

– Не оборачивайся, – шепнул я Брюне, и тут же мы оба, остановившись, медленно развернулись.

Мне стало не по себе.

К нам приближались пятеро парней, примерно нашего возраста, ну, может, на пару лет моложе, все до единого в спортивных костюмах. Я не рискнул бы даже предположить, будто вид их был мирным, а намерения дружелюбные.

– Вы что творите? – спросил один из них, когда они подошли к нам вплотную.

– Ты о чем? – я почти мгновенно протрезвел.

– Сам знаешь! Мы все видели!

– Я рад за вас.

– Вы откуда?

– А ты с какой целью интересуешься?

– Что ты отвечаешь вопросом на вопрос? Ты что – еврей?

– А ты что – сын прокурора?

В общем, беседа не клеилась. Возникла томительная и тревожная пауза. Ситуация была напряженная. Парни окружили нас почти со всех сторон – только позади нас никто не стоял – и явно ожидали приказа «фас».

Я глянул на Брюню. Тот смотрел на меня с нескрываемой надеждой и несколько даже просительно (так смотрят на родителей дети в магазине игрушек). Взгляд его выпивших глаз казался умолял: «Ленчик, давай оторвемся. Мы им наваляем. Не дрейфь, пожалуйста. Клянусь, наваляем!»

Ну что ж, рискнем! Может сработает старое правило, гласящее что если завалить вожака, остальные шакалы разбегутся. А главарь у них видимо этот, который со мной базарил.

– Знаешь, брат... – сказал я ему, но вдруг осекся, поглядел вверх и ошарашено побормотал – Черт, опять!..

И тот, естественно, как баран, тоже на мгновение откинул назад свою тупую башку... В ту же секунду я влупил ему кулаком по шее, чуть ниже кадыка. Глаза его вылезли из орбит, безуспешно хватая ртом воздух, он опустился на асфальт.

Напрасно я надеялся на чудо. Все парни сразу бросились в атаку, причем все четверо исключительно на меня одного. Я получил оглушительный удар ногой по уху. Меня шатнуло влево, где я тут же нарвался на второй удар. Я упал на колени, согнулся и прикрыл голову руками.

Удары сыпались со всех сторон. Затем этих бешенных каратистов видимо принялся раскидывать Брюховецкий, потому что число ударов стало постепенно уменьшаться и наконец совсем прекратились.

Я приподнялся. Помассировал ладонью онемевшую челюсть, и на язык упал один из боковых зубов, который я выплюнул вместе с заполнявшей рот густой солоноватой кровью.

Парни окружили Брюню и, размахивая ногами, попросту не подпускали его на расстояние возможного удара. Саня рычал, как раненый медведь, и кидался то к одному, то к другому, а пока тот отступал, остальные дубасили его своими копытами со спины и с боков. Он бросался к другому, третьему... И ничего не менялось... Но вот наконец он удачно схватил одного из них за ногу и резко потянув на себя, нанес ему такой удар, что я удивляюсь, как у того голова не треснула, наподобие перезревшего арбуза.

Потом, помню, послышалась милицейская сирена и с каждой секундой она становилась все громче.

Когда мы вернулись ко мне домой, Саша прошел в комнату и неожиданно достал из кармана своих «бермудов» чекушку водки.

– Ебсель! – воскликнул я. – Откуда?

На Брюнином лице отразилось полное недоумение.

– Не помню.

– Изумительно!

Я принес из кухни банку с голубцами.

– Спортивные ребятки, – сказал Брюня.

– Зуб выбили, – сообщил я.

– Ну-у!?! – удивился Саня. – Тот, что болел?

– Нет. – Я пальцем оттянул щеку в сторону. – Соседний, рядом.

– Жаль, менты помешали.

– Кому?

– Что?

– Им или нам?

– Нам.

- Скорее, им.
- И нам, и им.
- Ты видел, какие они вертушки крутили ногами?
- Спортивные ребятки, – повторил Брюня.

Он откупорил бутылку и, запрокинув голову, точно горнист, прямо из горлышка влил в себя ровно половину.

- Санек, что за херней мы занимаемся?
- А что делать?
- Н-да... Что делать и кто виноват...

Я допил оставшуюся водку и спросил, осторожно пережевывая кусок голубца:

- И все-таки... Зачем?

Саня только отмахнулся. Мол, да ну тебя с твоими дурацкими вопросами. Отмахнулся и закурил.

- Они, конечно, сами виноваты.
- Кто? – спросил Брюня.

– Они. Все эти... Благополучные, сытые, наглые... Я сбиваю с них спесь! Ведь я не против неравенства. Наоборот! Так должно быть. Поэтому что так было всегда. Но меня бесит, когда...

- Когда – что?
- Когда в князьях ничтожества.
- Вот это правильно. Ты очень здорово сейчас сказал. Правда, стрелка пафоса зашкалила, но это ничего.
- Это ничего, иногда нужно. Оставь докурить.
- Бери целую.
- Целую не хочу. Оставь.
- Держи. Как твой зуб?
- Притих пока.
- Вот видишь, я ж говорил.

Утром меня разбудила нервная телефонная трель.

Я открыл левый глаз (правый, как потом оказалось совершенно заплыл фингалом цвета флага независимой Украины), приподнялся с дивана, на котором спал, не раздевшись, и, подойдя к аппарату, снял трубку.

– Меня еще нет. С вами говорит сонный автоответчик. Пожалуйста, перезвоните или оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Пи-и-и!

- Доброе утро!
- Не надо обобщать, Алена. Мое утро, кажется, разительно отличается от твоего.
- Пил?

- Пел!
- Сегодня суббота.
- Вполне возможно.
- Я заеду к тебе сегодня?
- Когда?
- Вечером. Часов в пять.
- А сейчас сколько?
- Под десятого.
- Хорошо.
- Только не уйди, как в прошлый раз!
- Я не уходил. Я же тебе рассказывал, меня забрали в милицию.
- Чего это они тебя забирают всякий раз, как я хочу тебя увидеть?
- Скоты! Совсем не считаются с твоими желаниями.
- Так мы договорились?
- Договорились. В пять я буду дома.
- Взять что-то покушать?
- Бери.
- Ну, все, целую!
- Аналогично!

Я вернул трубку на место и поплелся на кухню, откуда доносились звуки льющейся воды. По пути глянул в прихожей на свое очаровательное отражение в зеркале. Одним глазком буквально. Зрелище не для слабонервных, в пору было воскликнуть: «Остановись, мгновенье, я прекрасен!»

На кухне, Брюня, согнувшись над умывальником, держал голову под струей воды и постанывал.

- Освежаемся?

Брюня отклонился влево, повернул голову и, щурясь, взглянул на меня через плечо.

- Ну, у тебя и рожа, Шарапов.
- Знаю. Видел.
- Соболева нужно срочно придушить. Он, наверное, в самогон димедрол добавляет. Голова раскалывается.
- Пойду приму душ.
- Валяй. И сходим полечиться.
- У нас денег нет.
- Была бы цель, – сказал Брюня, – а средства будут!

Погода выдалась солнечная. Как для десяти часов утра начала осени – даже жаркой.

Перед выходом я надел темные очки. Брюня критически меня осмотрел и коротко объявил:

– Терминатор. Жидкий.

Мы подошли к автобусной остановке. На той стороне дороги раскинулся целый ряд торговых, продававших молоко, творог, сигареты, водку.. Где-то среди них должна была быть и баба Таня, которая всегда с охотой давала нам в долг, зная, что мы обязательно вернем и даже отблагодарим сверху.

Саня вдруг глухо выругался.

– Ты чего?

– Помнишь того уroda, с которым я сцепился в кинотеатре?

Я проследил за его взглядом. Быстрыми шагами к нам направлялись двое мужчин. Одного я, к сожалению, тоже вроде бы узнал.

Я шагнул назад.

– Брюня, ну их! Мужики настроены серьезно.

– Не ной, Ленчик!

Брюховецкий решительно пошел им навстречу.

Черт! Я осмотрелся в поисках какого-то орудия, но ничего подходящего не увидел.

Твою мать! С утра, на большую голову, после вчерашнего, у меня не было ни малейшего желания драться. Иногда такое желание есть (все реже и реже), а иногда нету. Честное слово!

В общем, как пишут в романах, с замиранием сердца, я последовал за Брюней. Но было поздно! Один из мужиков достал из внутреннего кармана пиджака пистолет и с расстояния трех-четырех метров выстрелил Сане в лицо.

Какая-то баба коротко взвыла и бросилась наутек.

Мужики, переглянувшись, развернулись и пошли прочь.

Саня тем временем схватился руками за лицо и, кучерявенько матерясь, ничего не видя и, должно быть, не соображая, шагнул прямо на проезжую часть.

Я немного успокоился, когда понял, что пистолет был газовым, но в следующее мгновение я чуть с ума не сошел: визг тормозов, удар, и Брюнино тело отбросило метра на три.

Едрическая сила! Полет Гагарина!

Я бросился к Брюне. Возле него уже суетился кривоногий водитель.

– Ты живой, парень? – зывал он к Сане, опустившись перед ним на колени. – Парень, ты живой?

Брюня приоткрыл покрасневшие веки. Глаза слезились.

– Парень, ты меня видишь? Ты видишь меня? Как тебя зовут? Сколько пальцев? Как тебя зовут?

– Саня его зовут, – сказал я, присев на корточки рядом с ними.

Вокруг собирался любопытный народ.

Скривившись, Саня охрипшим голосом подтвердив мои слова:

– Да... Меня зовут Александр Матросов.

И когда наши взгляды встретились, он криво улыбнулся. Потом, как ни в чем не бывало, он поднялся, отряхнулся и успокоил собравшихся:

– Граждане, не в этот раз! Всем спасибо!

Водитель от переизбытка чувств принялся было Саню обнимать, но тот резко отстранился:

– Э-э, чувак! Оставь меня в покое! Без обид!

– Ты как? – спросил я.

– Глаза печет и башка трещит. Срочно нужна анестезия.

– Я чуть не рехнулся, видя твой взлет...

– Водила – гад! Сначала сбил, потом полез обниматься...

– Никакого постоянства! Да?

Брюня утвердительно чихнул.

Бутылку баба Таня давала, но с условием.

– Ребятки, – попросила она, – Булдыха все время занимает мое место. Скажите ей, чего?

– Она что, раньше приходит? – спросил Брюня, чихнув.

– В том-то и дело, что нет. Но с ней ее сынок – бугай-переросток – сгоняет меня.

– Где она?

Мы подошли к указанной тетке непередаваемых размеров и сказали:

– Послушайте, уважаемая! Говорят вы тут несколько притесняете своих коллег...

– Яких ще калек?! – враждебно гаркнула она. – Що треба?!

– Послушайте, мамаша, – сказал я, демонстрируя одну из своих обаятельных улыбок, – Давайте попытаемся насколько это возможно контролировать свою агрессию по отношению к дру...

Брюховецкий не выдержал и перебил меня на полуслове:

– Запомни, бомбовоз, еще раз обидишь бабу Таню – устроим тебе веселую-превеселую жизнь!..

– Андрий! – заорала Булдыха, глядя на кого-то позади нас. – Та старая сука натравила на нас цих бандитов!

Мы обернулись и я успел зафиксировать напоследок здоровенный кулак, который летел ко мне с превышающей все допустимые нормы скоростью.

Мои солнцезащитные очки с вафельным хрустом разлетелись, осколки впились в кожу, брызнула кровь...

Кругом поднялся невообразимый шум: бабий визг, топот и ругательства...

Я был уверен, что лишился глаза...

Брюня отвел меня к себе, промыл рану и, забинтовав глаз, сообщил:
– Веко разрезано, ты теперь можешь сквозь него смотреть на мир. И под глазом разрез. Надо в травмпункт. И не в обычный. Есть такое челюстно-лицевое отделение. Около зоопарка.

– Глубокий разрез?

– Да не очень, но ведь это лицо, а не жопа – пусть лучше зашьют.

В ванную комнату, где мы сидели, вошла его мать.

– Ты где шлялся? – спросила она Саню.

Тот, не отвечая, включил душ и стал отмывать ванну от крови.

– Где хлеб?

– Хлеб? – переспросил Саня громко, стараясь перекричать шум воды.

– Ты вчера пошел за хлебом, – напомнила она.

– Да, я вчера пошел за хлебом...

– Ну, и?

– Ну, и... нахлебался.

– Леонид, – обратилась ко мне Надежда Ильинична официальным тоном, – очень прошу, чтобы впредь не видела вас в нашем доме.

– Хорошо, – покорно ответил я.

Настроение было ни к черту.

– Не бери в голову, – успокаивал меня Саня по дороге в травмпункт. – У меня она несдержанна, но отходчива. Бывает, на батю так обидится, ну, прямо смертельно, а через десять минут, как ни в чем не бывало, – шутит, смеется...

Я слушал его вполуха. Меня смущал мой внешний вид. Казалось все люди пялятся на меня, хоть и отводят поспешно взгляд, лишь только я гляну на них.

Я их понимаю. Было на что посмотреть. Один глаз перемотан в стиле «раненый партизан», второй смотрел через тонкую щелочку «разноцветного заплыва».

В метро один алкаш вообще уставился на меня, как туземец на икону. Я уже хотел было послать его душевно к такой-то матери, но тут он подошел ко мне и сказал:

– Молодой человек, это конечно не мое дело, но вы замотали не тот глаз, у вас подбит другой.

– Спасибо, отец, не обращай внимания, так надо.

– Шутка такая, что ли?

– Да, прикол...

– Ну, и на кого ты похож?

Я не ответил, так как подозревал, что Аленин вопрос был по большому счету риторическим.

– Тебе самому не надоела такая жизнь? – задала Алена следующий вопрос.

– Не знаю, я как-то не думал об этом.

– А ты вообще думаешь?

Тут Саня тяжело и, по-моему, демонстративно вздохнул и даже позволил себе скрипнуть зубами. После чего изобразил на своем лице нечто, напоминающее добродушную улыбку, и сказал:

– Ладно, голубки, воркуйте. А я пойду, у меня целая куча неотложных дел.

Я поинтересовался, каких именно. Он на мгновенье задумался:

– М-м, куча... Во-первых... хлеба купить.

– У тебя же денег нет.

– Вот! Еще деньги достать. Все! Увидимся!

Лишь только он вышел, Алена сказала:

– Он очень дурно на тебя влияет.

– То же самое обо мне говорит его мать.

– И она права. Вы дурно влияете друг на друга.

– Че ты паришь? – Я принялся нервно прохаживаться по комнате. – Он мой друг, и этим все сказано. Он не бросит, не предаст и может спокойно рассчитывать на такое же поведение с моей стороны. Он всегда будет на моей стороне, независимо от того, прав я или не прав, заслужил я это или нет... короче, он мне друг, а я ему. Все.

– Да вы отличные, хорошие ребята, но только по отдельности. Вместе вы слишком гремучая смесь. Вам нельзя быть вместе.

– Херня! Мы должны быть вместе. Мы славно дополняем друг друга. Мы... это... как ночь и луна, как день и солнце, как Иисус и воскрес.

Алена дернула головой, смахивая белокурую челку с глаз.

– Прекрасная речь! Но, повторяю, по отдельности вы отличные, хорошие ребята... А вместе... Да что тут думать? Вы бандиты!.. Нет, хуже, вы хулиганы.

– Чем это хулиганы хуже бандитов?

– Хулиганы, в отличии от бандитов, совершают преступления исключительно ради преступления. – она помолчала. – А еще вы неудачники. Не смогли найти себя в жизни, вы недовольны собой, не любите себя и срываете злость на других... Ладно, хватит! Какое мне, собственно, дело?

– Вот это правильно!

Алена прилегла на диван.

– Мы будем сегодня трахаться или нет?

– Трахаться, – задумчиво повторил я, – трахаться – да, будем... Только я буду снизу, чтоб не напрягаться, а то боюсь швы разойдутся.

– Ты лентяй, – улынулась Алена.

Я присел около нее на диван.

– Ты хоть соскучился? – спросила она.

Я не успел солгать, так как в этот момент зазвонил телефон.

– Не бери, – попросила Алена.

– Да ты что, – возмутился я, – он и так у меня редко звонит.

Я поднял трубку.

– Ленья, это Соболев! Срочно дуй на остановку, там у Брюни большие проблемы.

– Какие проблемы?

Но на смену гнусавому голосу Соболева зазвучали короткие гудки.

– Прости, Алена!

Я схватил куртку, кепку и был таков.

Обычное дело. Все как всегда. Продолжалась моя беспутная жизнь.

Это было давно. Лет десять назад. С Брюней я не виделся уже семь лет. У него жена, сын... И я вроде как обзавелся семьей. У меня полон рот забот и куча работы. Я отличный, хороший парень... Вот только... Не знаю, как у Саши Брюховецкого, а у меня друзей нет.

Вот такие дела...

АНТОН ЛУКИН
(СЕЛО ДИВЕЕВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
БЕЛАЯ ГОРЯЧКА



Григорий Бурлаков всю неделю не выходил из запоя. Для него это было уже обычное дело. Если уж начинал гулять, то, пока по жилам брага не потечет вместо крови, не успокоится. Отлежится потом немного и снова за старое. Так и жил, от запоя к запоя. Вот уже как два года Гришка нигде не работал. Сидел у жены на шее и все время пил.

– Ой, да когда же это кончится-то, а?! Господи, когда же ты, дрянь этакая, за ум-то возьмешься? Не надоело еще под заборами да в лужах валяться? У тебя же дочь растет. До-очь! – ругалась жена. – И как тебе только такому паразиту деньги дают? Не отдаешь ведь никогда.

– Твое какое дело?! – бурчал Григорий. – У тебя, что ли, беру? Нет-нет, ты мне скажи, на твои, что ли, пью, а? – в его голосе звучала даже какая-то нелепая правота в том, что он действительно пил не на ее деньги.

– Ходишь, как попрошайка – дайте-дайте. Не стыдно?! А Оксанке какво, отца такого каждый день видеть? Да тебе и на жену, и на ребенка наплевать. Себя позоришь и нас позоришь, ирод проклятый!

Григорий молчал. Все правильно жена говорила, и, как бы это ни было противно, он сам это прекрасно понимал. Все-таки, когда человек пьет, чувство собственного достоинства постепенно отходит на задний план, а затем и вовсе пропадает. Лишь бы выпить, а там без разницы, что говорят. Встанет поутру у сельмага и – ну давай у прохожих

мелочь стрелять. И ведь, как репей, привяжется и не отстанет, пока не дашь. Ему, видите ли, надо, ему, видите ли, позарез. Потому и прозывали его в селе – «вертушок». Где наливают, там и он. Всегда со своим стаканом, и всегда без денег. Потрепать языком любил, и ведь главное – умел. Как ловко у него выходило. Выпьет немного, и понесло, не остановишь. Смешно рассказывал, посмешить любил, потому его и не прогоняли иной раз, а наоборот, даже наливали, чтобы послушать его байки.

В этот раз после очередного запоя Григорий никак не мог прийти в себя. Голова раскалывалась, словно по ней били кувалдой, тело тоже все ныло. Три ночи не мог нормально уснуть.

– Зараза эдакая, и ведь не отпустит никак, – вздыхал в отчаянии.

На душе было как-то не спокойно, как будто предвиделось что-то нехорошее. И это беспокойствие постепенно усиливалось, перерастая в непонятный страх. Гришка сам не мог понять, что его душеньку так тревожит и мучает. Жена с самого утра ушла на работу, оставив его одного. Оксанки тоже не было, не пришла еще со школы. А еда до сих пор в рот не лезла. Немного выпьет рассолу, пройдет по избе туда-сюда и снова приляжет. Все болело, тело бросало в жар, а на душе по-прежнему было беспокойно.

В дверь постучали. Гринька, оторвав голову от подушки, поднялся с постели и, надев тапочки, в одних трусах и майке отправился в сени. На крыльце никого не оказалось.

– Кто тут еще балуется? Додумались.

Гринька вернулся в избу. Он проходил через горницу, как вдруг услышал до боли знакомый голос. Он похолодел, еще не обернувшись на оклик. Гриша узнал этот голос и, обернувшись, уверился в своей догадке. На стуле у комода сидел сосед Василий. Все бы ничего, да только вот схоронили его три недели тому назад. Помер, бедолага, от сердечного приступа. И тоже выпить ведь был не дурак. Сутулился без конца. Теперь же сидел важно, выпрямившись, как струна, закинув ногу на ногу. И улыбка, эта непонятная улыбка, еще больше испугала Григория. Ведь никогда, сколько Гриша его помнил, Васька не улыбался. Всегда ходил хмурым. А тут, на тебе, как жмуриком стал, так и повеселел сразу!

– Что, Гришенька, рот раскрыл, или не рад вовсе увидеть снова?

Григорий от испуга попятился назад. Уперся в стену, перекрестился.

– Василий, как это... ты же это... ты же того... помер ведь.

– Что же ты мне, Гриша, четыре рубля-то до сих пор не отдал. Или забыл? Или и вовсе не собираешься отдавать, а?

– Так как же я тебе отдам-то? – Григорий дрожащей ладонью потер глаза, он никак не мог поверить, что говорит с покойным соседом. Но Василий не исчезал. – Да, как же я тебе отдам-то? Ты же, Вася, помер!

– А ты, я гляжу, и рад-радешенек, что отдавать не придется. Что ты за человек такой, Гришка? Жмот ты. Сроду за копейку готов был удавиться. Пьяница!

– Э-э, постой! Ты что такое говоришь-то, словно сам сроду не пил. Не тебе меня учить Васька, не тебе!

Гришка разозлился на сказанное и даже как-то позабыл, что беседует с покойничком. Ладно бы тот сам не пил, другое дело. Так ведь такой же был – пьянь и рвань. Не лучше. Все, что можно было, из дому выносил да пропивал. А теперь, посмотрите-ка на него, учить вздумал.

Василий улыбнулся:

– Танюша правильно тебя без конца ругает. Тебя не ругать, тебя колотить надо. Бить, как сидорову козу, чтобы знал, как лопать. Не был бы я в гробу, эх, и отмутил бы тебя сейчас, все бока тебе, собаке, отходил бы!

– Ты чего такое говоришь, а? – Гринька раздул ноздри.

– Давно в зеркало-то не смотрел? Посмотри-посмотри. Наглуую порсячью морду увидишь. Кем ты стал, Гришенька, кем ты стал? В кого ты превратился? Себя позоришь, Танюшу с Оксанкой. Каково, думаешь, дочери в школе за спиной слышать: «У ней папка пьяница». Каково, тебя спрашиваю? Не любишь ты никого. Ни-ко-го. Нет у тебя дочери и у Оксанки отца нет. Ты просто пыль, грязь, которую давно пора собрать в совок и выбросить за порог. Ты же ничтожество. Ты никто. Правильно Татьяна тебе говорила, – попросайка ты, попросайка. Наложил на себя руки, Гришка, наложи. Поверь мне, и дочери, и жене твоей станет только легче от этого. Только легче. Вздохнут с облегчением: «Наконец-то избавились».

– Сука! – Григорий бросился с кулаками на соседа. После услышанного он просто взорвался. Это надо же такое сказать. Он что, Василий, совсем ополоумел?

Раздался громкий звон. Гришка нагнулся и подобрал с пола осколок. Из костяшек кулака сочилась кровь. Никого рядом не было. Только теперь до него дошло, что он разбил зеркало. Над стулом у комода, именно там, где ему привиделся Василий, висело зеркало. И с чего это он вдруг почудился ему, да еще с такими речами? Гришка, немного отдышавшись, слизнул с кулака кровь. Голова, как ни странно, уже не болела, но на сердце по-прежнему было беспокойно, даже хуже, чем прежде. Страх мощной волной вливался в душу. Он поспешил покинуть избу. Оставаться одному было боязно. Но в прихожей остановился. У двери, прямо у порога, сидела русалка, расчесывала гребнем волосы и плакала.

– Что же ты, Гришенька, женушку свою обижаешь? Ведь она у тебя одна, и доченька у тебя одна, а ты их обижаешь. Разве так можно? –

русалка смотрела на хозяина дома жалкими глазами. На щеках ее блестели слезы.

– Что ж ты, Гришка, на меня с кулаками-то полез, а? – слышался сзади голос соседа. Григорий тут же обернулся. Василий сидел на кухонном столе. – Ты думаешь, сосед тебя бранил, не-ет, это совесть твоя тебя стыдила, – голос становился все грубее и грубее, вовсе не похожий на Васькин, хотя вылетал из его уст. – Васька-то давно уже там, там уже, – сосед показал пальцем в пол. – В котле с кипятком парится. А визжит-то как, у-у-у, хуже бабы, – сосед громко засмеялся. Голос был настолько басист и груб, настолько ужасен, что Григория сковал ужас. Было страшно шелохнуться. – Слезами теперь умывается. А толку-то. Чем они ему теперь помогут? И ты там будешь, и тебя ждет та же участь, – кожа Василия покраснелась, изо лба прямо на изумленных глазах Григория вылезали огромные рога, а на ногах показались копыта. На подбородке вдруг выросла черная козлиная борода. И это был уже не сосед, а самый настоящий черт в его облике. Он по-прежнему улыбался, а глаза его уже горели зеленым огоньком. – Чего смотришь? Собирайся. Думаешь, я просто так здесь?

– Не надо. Я... я... я никуда не пойду... я... я... – Гришка обернулся. Из комнаты выбежали маленькие чертенята, от силы с полметра ростом, и принялись весело отплясывать.

– Собирайся-собирайся, – прыгали они возле него.

– Не надо! – взвыл Григорий. – Не пойду-у!

Он схватил швабру и, размахивая ей из стороны в сторону, заорал, как сумасшедший, не подпуская к себе маленьких гостей. Те пискливо смеялись и пытались схватить Гришку за ноги. Огромный черт по-прежнему сидел на столе и громко смеялся над происходящим. Бурлаков дрыгал ногами и махал шваброй, пытаясь зацепить хоть одного из чертенят.

– Не подходи, мать вашу! Зашибу-у! Всех зашибу!

– Не попал, не попал, – радостные чертенята все плясали у его ног. Шваброй Григорий сбивал кастрюли с полок, бил по вазам, по телевизору, по люстре, по тумбочкам, по всему, где мерещились черти. А черти бегали по всей избе, весело смеясь. И Гринька крушил все подряд.

– Гришка-дурак! – дразнился один чертенок и, пока тот целился огреть его шваброй, остальные прыгали на него, пытаясь повалить. Гришка падал, бил себя по ногам, вскакивал и снова крушил все подряд, взывая о помощи.

Спустя некоторое время силы его стали покидать. Он упал на колени и, упервшись лбом в пол, заплакал.

– Ну, пожалуйста, перестаньте, ну, что вам надо! – Гришка утирал слезы, махал руками, бил кулаками об пол, жалостно кричал. – Уйдите, ну, уйдите!

И тут снова заговорил черт, басистым приказным голосом:

– Полезай в петлю. Быстро в петлю!

Гришка поднял голову и увидел петлю, свисающую с потолка, неизвестно кем приготовленную, но совершенно ясно, для кого.

– Не могу.

– Я кому сказал! – голос черта звучал страшно и повелительно.

– Не могу!

– Давай, Гриша, давай! – двое чертенят тащили ему табурет. – Не бойся. Смелей!

Григорий пнул по табурету ногой. Тот отлетел в сторону.

– Мы принесем, Гриша, мы принесем! – кричали чертенята и снова подтаскивали ему табуретку. – Держи!

Бурлаков схватил табурет, вскочил на ноги, закружился на месте и – запустил им в окно. Стекло вместе с рамой вылетело на улицу.

– Не дождетесь, гады, не дождетесь! – и Гришка бросился к разбитому окну.

В это время мимо его дома проходили две женщины. Шли из магазина. Сумасшедшие крики из хаты Бурлаковых заставили их приостановиться. И вдруг окно вместе с рамой, гремя, вылетело на улицу. Следом в окне показался хозяин дома, пытаясь выбраться наружу.

– Гришка, чего случилось-то?! – крикнула одна из женщин, пока другая принялась визжать с перепугу.

Гринька глянул на них бешеными испуганными глазами и что есть мочи заорал:

– Мать вашу, окружили уже! Окружили! – он попятился обратно в избу. – Ни хрена, я вам не дам, не на того нарвались, черти! Дом сожгу, всех сожгу! – и Григорий скрылся из виду.

– Светлана, а ну, беги за Танюхой. Скорее беги! С ума походу сошел. Пожалуй, и правда избу сожжет!

А Гришка тем временем бросился к печи, но спичек там не нашел. Схватил кочергу и снова принялся носиться по дому, круша все подряд. Стульями выбивал окна, ломал двери, столы, сшибал полки, угрожающе орал, что всех убьет. Громкий басистый смех черта доносился неизвестно откуда.

– Выходи! Выходи! – орал Гришка, махая кочергой.

По комнате снова забегали чертенята. Он подобрал с пола нож, прыгнул к перевернутому столу и поймал одного за хвост.

– Только не хвост! – взвыл бесенок.

– Ага-а! – обрадовался Гришка и стал стегать ножом по хвосту, который плясал, как струна.

Когда в избу вбежал народ, Григорий хлестал ножом по вытянутой руке. Брызги крови разлетались в разные стороны. Мужики бросились к нему. Отобрали нож, уложили на пол, быстро забинтовали руку. Гришка пинался, дрыгался, кричал, что не дастся, звал на помощь жену.

– Здесь я, Гришенька, здесь, милый, – утирала та слезы.

– Уйди, уйди! – кричал на нее муж. Глаза его в эту минуту были настолько испуганы и растеряны, что в них было больно и страшно смотреть. Приехала «скорая», и молоденькая медсестра сделала Григорию укол. Он немного успокоился. Затем на носилках отнесли его в машину. Заплаканная жена присела рядом, держа мужа за разбитую опухшую ладонь. Машина тронулась и не спеша поехала к больнице. Народ постепенно стал расходиться, и только чей-то женский голос негромко произнес:

– Надо же, допился до чертиков...

НИКИТА ЯНЕВ (МЫТИЦИ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) ЗАГРОБНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ



Загробная компенсация 1

Кому, чему? Вот это самое главное. Кому, чему? Зарплате, детям нашим ты сообщаешь, что ты выжил? Да нет же, только ему. Кому, чему? Кому, чему.

Конечно, ты бы хотел загробной компенсации, но ведь она за гробом. А здесь сюжет и интрига, что во время опасности можно замереть и выживешь.

Бог, как бэтмен, всё время улетает из каждой минутки. Вообще-то это были мы, которые всё построили и всё потеряли. Одни с офигительной зарплатой, другие вообще без зарплаты. Одни с кучей детей, другие с чужими детьми.

Одни 20, 30, 40 лет всё время наблюдали интригу, как свобода становится нищетой, нищета становится корыстью, корысть становится свободой. Другие вообще не наблюдали, потому что вместе с Богом, как бэтмены, улетали из минутки.

И поэтому, можно сказать, единственные, кто хоть что-то знали, но нам не сказали, а если бы сказали, нужны были медиумы, которым бы мы поверили, что они не ломаются и не надувают.

Правда, пошли на все униженья. Стали приживалками, чмошниками, юридивыми, чтобы всё время видеть, как Цой с Гребенщиковым разговаривают, и Башлачёв с Шевчуком, как городская культура с деревен-

ской, как выжившие с бессмертными, что нельзя продавать смерть, не то продашь жизнь.

На Соловках была община. Седуксеныч, Самуилыч, Димедролыч, Соловьёв, Вера Верная, Ма – были родные. Поэтому я всё время Соловки вспоминаю. Дело в том, что сложные были естественным противоречием простым, чтобы не скатиться на дно.

Тогда дно превращалось в весть, что на небе нельзя жить, на небе можно только спасать, а земля – часть неба. Поэтому я говорю, что на Соловках была община.

В сущности, я ведь только год жил на Соловках вплоть. Кстати, это был самый тяжёлый год в поколенье, переломный.

Вера Верная и Никита, Соловьёв и Мария рифмуются всё время. Вера Верная на этот год уезжала с Соловков, потому что они поговорили с Соловьёвым, что дальше так нельзя.

А Никита на этот год уезжал на Соловки, потому что они поговорили с Марией, что должен быть выход. Только у Веры Верной и Соловьёва целый город из детей и внуков, а у Никиты и Марии дети – все, и они два аборта делали.

И вот почему эта рифма важна, тем более теперь, когда живут уже дети и начинают жить внуки. Потому что опять: нищета – корысть – свобода. И опять должен быть медиум, который расскажет нерождённым детям, что говорит каждый день Цой Гребенщикову и Башлачёв Шевчуку во сне и наяву.

Загробная компенсация 2

Загробная компенсация вся в том, что выжил бэтмен Бог, который улетел из минутки опять в того, кто застыл и выжил.

Загробная компенсация вся в том, что дети Соловьёва и Веры Верной стали учениками Марии и Никиты.

Загробная компенсация вся в том, что Шевчук стал Башлачёвым, а Цой Гребенщиковым, городской и провинциальной культурой, и начинают петь с начала свои песни про нищету, корысть, свободу.

Загробная компенсация вся в том, что Мария стала Никитой и учит детей из богатых семей в школе общине, а сама уже не верит, потому что очень устала, как Чехов.

Загробная компенсация вся в том, что Никита стал Марией и нерождённых детей обучает в интернете медиумическому искусству, раз некому больше быть свободой среди нищеты и корысти, как Толстой.

Загробная компенсация вся в том, что Соловьёв стал Верой Верной, от лакейщины переводит на звёзды группы эмигрантов-туристов.

Загробная компенсация вся в том, что Вера Верная стала Соловьёвым, возглавила производство, завод космопланов.

Загробная компенсация 3

Все могут устать, вот что я ещё скажу. И Соловьёв с Верой Верной устали переводить вброд великую бездну жизни, задыхаясь в тоске по несбывшемуся, как подпольщики.

А как устали Мария и Никита, об этом известно только куклам Марии из глины, ладола, папье-маше, текстиля, фельца. И загробной компенсации Никиты в интернете, где все плюются и блюются без медиума.

Что дальше? Дальше такая подробность. Простите меня, куклы, говорит Мария. И куклы оживают и становятся внуками Веры Верной и Соловьёва.

Простите меня, дети, говорит Никита, и Майка Пупкова, дочка, как настоящий медиум, теряет сознание. И во сне без сознания пишет книгу, какие люди раньше были, чтобы их не забыли, про общину.

Через полторы секунды приходит в сознание и одного Лёлика и Болека к себе пальцем манит, и говорит растерянно на стотомник летописи мемуаров: что с этим делать?

Лёлик и Болек потирает руки азартно, экранизировать будем, чтобы покорить всю ойкумену песнями про нищету, корысть и свободу, общину, Веру Верную, Соловьёва, Марию, Никиту, бэтмена Бога, минутку, и многих других.

Загробная компенсация 4

Значит, должна была решиться не загробная компенсация в месяце августе, потому что это слишком трудоёмкое дело, а судьба рукописи в месяце августе.

Что съестся годик, ещё один годик грузчиком земли русской, писателем на топчане на веранде, на пенсии по инвалидности в доме в деревне.

За этот годик можно будет поставить спектакли, издать книги, заработать зарплату, отредактировать новую книгу, потому что Иосич и Федорчук подружились в месяце июне и месяце июле, когда делали ремонт и устраивали судьбу котят.

А потом у Иосича был сердечный приступ и Федорчук поклялся, что увековечит его память. А Мария и Никита решили прочесть сначала всю русскую литературу и оживить всех её героев, потому что у них всё было – жизнь, смерть и сон, дети, куклы и звёзды.

Ну, это, в общем-то, просто. Эволюционный скачок, мутация. Три поколения, сосредоточившись, внушают четвертому поколению не бояться ни нищеты, ни корысти, ни свободы для искусства медиумического перехода из жизни в сон через смерть.

Когда ты возвращаешься, ты как десантник, ничего не делаешь больше. А все на тебя смотрят и думают – как он опустился. Но всё равно слушаются, потому что знают, что они твои дети, потому что ты их ребёнок.

Все дети всех, потому что они их дети, вот и вся информация из космоса, с которой мы спокойно прошли через все вирусные атаки. Так видят клоны, медузы и мутанты, планируя над своим умирающим телом.

Загробная компенсация 5

У всех ответственных лиц рождаются девочки. А вот совсем разительный пример – у Пети Богдана были три девочки от трех жён. А вот ещё более разительный пример – у Блудущего Корпоративные Интесеры Босса шесть девочек от шести жён.

Что это значит? Что они талантливы? А что это значит? Больше лишнего? Дочка мне рассказала: они проходили по биологии, что у женщин клетки, отвечающие за наследственность, содержат только X-хромосомы.

Мутация деформирует фрагмент X-хромосомы в Y-хромосому, носителем которой является только мужчина.

Человек двигается в двух направлениях сразу, как Христос. Снаружи он, как ответственное лицо, старается поправить социальность всеми доступными средствами вплоть до запрещённых приёмов.

После финала, занавеса, цветов, аплодисментов и многообещающих улыбок, режиссёр сдержанно поблагодарит актёров и процитирует Шварца, «все хорошо учились, время было такое, но кто тебя ставлял быть первым учеником, скотина?»

И ему станет так стыдно, так стыдно! Изнутри он как мутация, как Y-хромосома и Христос, у которого вообще не было детей, потому что и так все люди его дети, и он придумывает новые жанры, чтобы закрепить наследственную информацию.

Вот окончательно разительный пример. У Веры Верной и Соловьёва сначала были две девочки, чтобы закрепить мутацию, когда все их разлучали, а они не разлучались, и Соловьёв увёл их на край света, как десантник.

А потом родились два мальчика, потому что Вера Верная заглянула за край света, как Христос, и у неё не было таких хромосом. Тогда она просто стала начальник, потому что почувствовала ответственность такую, что её стало плющить, как реальность в пороговом переходе.

Она сначала уехала, потому что испугалась смерти, а потом вернулась, потому что увидела, что после смерти то, что после этой минутки. И это была уже мутация.

Загробная компенсация 6

А представляешь, какую смертную тоску должна чувствовать Мария. Как все коты и кошки, которые у нас были, и как собака Глаша. Потому что ты всегда рядом, но никогда вместе, думал Никита.

Почему так получилось? Да потому что он одинокий, говорили все. Тогда Мария придумала вот что. Мария была мудра, как женский Со-крат. И мужественна, как третья парка.

У каждого три парки. Парка нищеты, парка корысти и парка свободы. Мы уже видели в поколенье двух парок. Парка нищеты похожа на Майку Пупкову, которую родили в эти годы Мария и Никита.

Она ещё себя не знает, что она может, а уже себя боится, а вдруг она себя не сможет, минутку, бессмертье, и сразу может.

Парка корысти похожа на Орфееву Эвридику, она как человеческая природа. Когда свобода, она становится нищей, и корыстной, и свободной. Правда, проходит тридцать лет жизни, и уже живут другие люди, и она заботится как может, и это подвиг парки.

Парка свободы похожа на Марию. Сначала она двадцать лет любила, а потом излюбилась, и придумала вот что. Если все её дети, и если любовь это вера, и если другой – Бог, то это сплошное искусство и абсолютная свобода.

Никита когда её увидел, третью парку, как от неё идут лучи, то взял винтовку и пошёл сражаться, и двадцать лет прошли как один миг.

Он вообще ничего не помнил после всех ранений, и она ему рассказывала в медсанбате с помощью наглядных пособий, актёров, исполняющих роли. Смотри, видишь, жизнь, смерть и сон. Жизнь рассказывает сну с помощью смерти жанры.

Сон входит в жанры и становится жизнью, знаешь зачем? Чтобы, неуверенно шуршит Никита. Вот именно, чтобы, смеётся автор. Потому что приготовил патетическую концовку.

Ну, про смерть. Чтобы не было смерти. Вы все проходили на ОБЖ.

Загробная компенсация 7

Вот что придумала Мария. Имя Бога. Клейма. Дерево, масло.
 Кому рассказать, что я его поймал?
 Я, я, я, битый эпилептик из Мелитополя.
 Чмо, приживалка, юродивый, Мариин муж.
 Кому рассказать, что я его поймал?
 Некому, только Богу.
 Бог, я тебя поймал.



Загробная компенсация 8

И вот что придумала Мария.

Вот современная трагедия. Скульптура Марии, оклеенная объявлениями из газеты знакомств.

Симпатичная девушка, 35 лет, познакомится с православным молодым человеком, 35-42 лет, без детей (в том числе, отдельно проживающих), выше среднего роста, не склонным к полноте.

Подарю море любви и океан удовольствия будущему мужу, преданному, надёжному, доброму, ласковому. Шикарная, милая, обаятельная, преданная сексдама, 50 лет, без компл., разм. груди 4, ищет самого дорогого человека для создания семьи на всю жизнь.

Тургеневский тип, девушка чистая и светлая, преданная, без вредных привычек вообще, ищет единственного для создания семьи.

Ищу мужа-пчеловода, женщина-пенсионерка, 70/160/60, работала на природе.

Одинокая, материально независимая женщина, 56/162/68, врач-кардиолог, доцент, ищет одинокого москвича без в/п, ж/п, детей и внуков, для создания семьи, потенция и возраст значения не имеют.

Красивая женщина-Рак, 47/162/68 с высшим образованием, трудолюбивая, энергичная, заботливая, надеется создать счастливую семью в браке с серьёзным и интеллигентным мужчиной с высшим образованием.

Возьмите в жёны, вдова, 58/158/65, привлекательная, трудолюбивая, Козерог, год Быка, работаю главным бухгалтером. Вы одинокий, нуждающийся в сердечном друге и вам до 80 лет.

Русскоговорящая канадка, 58 лет, познакомится с деловым интеллигентным россиянином от 50 лет, готовым к изменению образа жизни и перемене места жительства. Только серьёзные отношения.

Елена, 61/152/62, встреча судьбы не меняет, но даёт шанс.



Загробная компенсация 9

Неплохо, правда? А я удаляюсь. Потому что я устал. А ещё потому что в жизни всё будет наоборот, чем во сне. В жизни будет катастрофа, а во сне все всем кино крутят про то, что они их дети.

В жизни такое бывает, только если вы, как Вера Верная и Соловьёв, обрубите корни у острова в море на краю света и заплывли за край света. В открытый космос. И на острове все сразу почувствовали себя общиной, простые, сложные, дно, хоть они и не дети друг друга.

В жизни такое бывает только, если вы, как Мария и Никита, за двадцать лет поменялись сущностями на свете, как враги на фронте. И держитесь за голову, как во время контузии, и не отдаёте себе отчёта, кто брат, а кто не брат.

Кажется, что это война, потому что все боятся свободы. Ведь если свободен как белка-летяга, которая прыгнула с сосны, и у неё случилась мутация. У-хромосомы превратили пазушные мешки в перья за мгновение сна без сознания.

И вот уже над полем от Франции до Канады с тоской в животе скользит гордая птица, а не грызун. Вперилась стеклянным глазом в подводную лодку в степях Украины, поднимающуюся из недр мирового океана, как ребёнок из лона.

Ты не боишься ни нищеты, ни корысти, потому что в нищете ты будешь богат, как Майка Пупкова, которая знает секрет вопроса, хочешь, чтобы у тебя всё было? Потому что ей в детстве читали хиппушную книжку про Зоков и Баду. А в корысти ты будешь нищим, как Орфеева Эвридика, у которой всё было.

Загробная компенсация 10

Сколько раз была такая свобода у героя в жизни? Четыре. Наверное, она и есть жанры? Поэзия, философия, богословие, драма.

Дружба это когда чмо и Бог дружат. Любовь это когда тело спасает. Вера это когда всё наоборот.

Драма это когда звезда на куклу смотрит и плачет от щенячьей боли в желудке, может у неё аппендицит?

Что вы знаете про всегда, придурки? Хохочет звезда басом, фальцетом, тенором, баритоном, контральто, и кривляется, как зэк на зоне. Ей жалко. Это главное. Она полюбила свою судьбу. Это главное. Дальше детали жанра. Вы – мастер.

А кукла рассказывает – язык это, в принципе, дети, дети, дети. Но чтобы не быть схоластикой науке жизни приходится пройти через все жанры.

Если со звезды – это даже красиво, щемяще, – резонёрствует кукла. Если из У-хромосомы – это без башни. Приходится быть где-то посередине, как древние греки с их мерой, – ёрничает кукла. И падает на бок.

АНДРЕЙ ГОРЕЛИКОВ (КРАСНОЯРСК) ТАТУИРОВКА



Александре

Когда пятьдесят третий автобус подъехал к нужной остановке, ностальгия уже ударила меня под дых, скрутила кишки и оставила истекать слезами, вцепившись в поручень. Пассажиры толкались плечами, а я боялся на них смотреть, потому что, замеченные боковым зрением, все казались похожими на меня или тех, кого я знал когда-то.

Таковы приметы жизни в большом городе. Можно годами не видеть оставленного когда-то района, а потом за двадцать с чем-то рублей совершить путешествие во времени. А по мне так лучше уж завести семью и отдавать эту мелочь сынишке на мороженое!

– Рады вас видеть в клинике «Art and care». Вы к нам записаны?
– К вам, куда же еще, – ответил я.
– Пожалуйста, – голос у нимфы был мелодичный, но интонации слишком выверенные, перекликающиеся с трехнотной мелодией звонка.

Поднявшись по ступенькам так, что стало видно мое отражение в первом зеркале, я замешкался. Поморгал себе глазами, чтоб успокоиться, расстегнул молнию старой куртки и снова подивился своей чу-

жеродности здесь. Это место было определено женским. Здесь пахло женщинами, на стеклянных столиках лежали женские вещи, и плитка пола была нежно-бирюзового цвета. Правда, кроме меня, никого в приемной не было. Другая секретарша, за стойкой, блондинка в сиреневом, велела мне надеть бахилы. Должно быть, чтоб не осквернить клинику мужской грязью с подошв.

Я стал ждать, пока меня позовут, а секретарши тем временем все звонили или отвечали на звонки, замирали, склонившись над стойкой, или рассматривали свои блестящие накладные ногти, а то и вовсе пробегали из кабинета в кабинет, обдавая меня непереводаемыми запахами своих духов. На стеклянном столике лежали журналы, я взял один и загородился. После тридцати страниц с рекламой духов, машин и купальных костюмов шла статья про путешествие в Африку.

Парень отправился в глубь Сахары с одним проводником, чтобы прожить денек с кочевым племенем, щелкающее на языке название которого я тут же позабыл. Эти кочевники были забавные ребята. Они не мылись никогда, сохраняя все запасы желтой от грязи воды на питье для себя и коров. Зато натирались с ног до головы специальной глиной, которая, засыхая, придавала коже юный блеск, гладкость и упругость. Притом ребята вовсе не были так наивно-непорочны, как можно было бы подумать, исходя из их близости к природе. И у них не обходилось без иерархии, без своих лохов и шишек. В пустыне классовая принадлежность местных определялась наличием и количеством коров. Бескоровник, пустой человек, назывался по-местному «муджимба», а серьезный, основательный владелец стада – «махома». Над тем парнем, журналистом, местные смеялись, мол, все белые – муджимбы, о чем собственно с ними говорить.

– Вы записаны на двенадцать тридцать?

Я сложил журнал, наверное, излишне поспешно и поднял глаза. На меня смотрела докторша в коротком белом халатике. Лет тридцать пять, вся – лак и искусственный загар. Мы прошли в кабинет, где от белого пластика и блестящего металла мне сразу стало холодно.

Доктор сказала со смешком:

– У нас мужчины не так часто бывают. Наверно, обстоятельнее выбирают рисунок татуировки или просто более консервативны.

– Просто трусливы. Но я не такой. Можете сэкономить на анестезии, серьезно.

– Что вы, зачем такие жертвы. Да и какая анестезия, побрызгать лидокаином. Все равно все почувствуете.

– Хочется полнее ощутить боль утраты, – сказал я.

Она встала надо мной, склонившись, а мне из моего положения видны были только ее ноги. Прозрачные чулки, смуглая кожа, натянутость, напряженность мышц из-за высоких каблуков. Вот придет она домой, скинет обувь, залезет на диван с ногами и сразу превратится в мамашу. Я задумался, согласилась бы эта женщина вместо кремов и автозагара натираться лечебной африканской глиной. И представил, как она подходит к какому-то карьеру, голая, зачерпывает земли ладонью и начинает тереть, пачкать, очищать себя.

– Слушайте, – начала доктор. Все это спрашивают. – Может, это не мое дело, но не могу разобраться, что у вас за татуировка. Это знак или надпись?

– Если б я сам знал, милая. Может быть, там написано «муджимба».

– Что написано?

– Да так, это я о своем.

С тонким жужжанием заработал лазер, и невидимая оса начала вкручивать, бурить жалом мою шею, буквально с мясом выдирая метку с моей кожи. Запахло жареным мясом. Я закрыл глаза, и мне привиделся костер кочевников, неимоверно-звездное, покрывалом расстелившееся над головой африканское небо, искры, сложенные крылья шалашей. И голые ноги местной целительницы перед моими глазами, близкие и недосыгаемые.

До кафе я дошел без шарфа, чтобы морозный ветер остужал пульсирующий болью комок на шее. Мой приятель уже был на месте. Узнав о том, куда я ходил, он сказал, что зря я удалял татуировку. Это было еще глупее, по его мнению, чем ее делать.

Затем он спросил, что же было изображено на моей шее, в этом уязвимом месте под волосами. Я вновь повторил, что не знаю сам, а затем, заказав пиво, поделился историей о кочевниках и их коровах.

– Это раньше так было, про махони и муджимба, – сказал приятель. – Теперь там дети, когда подрастут, отправляются в местную столицу. Кто-то учиться, а кто-то работать на рынке или на скотобойне, или торговать наркотиками. И тогда, насмотревшись на дома выше двух этажей, на мобильники и видеосалоны, там черт разберет, на что еще... Тогда они возвращаются погостить. И в родной деревне у этих детей все валится из рук. Сколько бы коров у него не было, хоть он самый что ни на есть махони во всей деревне, он ни одну не может подозвать, а если пробует, коровы на зов не откликнутся. И пейзаж там родной, и палатка, и игрушки, и люди, только все уже не его. Мать и сестры подадут поесть, а ему уже умыться надо. А пока он ест, они стоят и смотрят; сесть стесняются.

Мы выпили, чокнувшись, за то, что он, должно быть, правильно все объяснил. Я спросил приятеля, где он работает.

– Курьером в одном книжном магазине. За девятьсот рублей в день. Неплохо, только руки отваливаются к концу дня. И заплетается язык, потому что приходится одну и ту же аннотацию к какой-нибудь монографии пересказывать десяти людям. Я им говорил, когда пришел на работу, что когда-то печатал стихи. Может, им лестно иметь почти настоящего поэта на посылках, так сказать.

Он был довольно грустным человеком. Я наклонился к столу и посмотрел на приятеля снизу сквозь стакан, полный янтарного пива и пузырьков. Так он казался повеселее.

Когда-то мы на этих самых улицах бродили два с половиной дня, не показываясь домой и проспав всего пару часов на лавочках. Это было еще в школе. Я спал с его двоюродной сестрой. Она однажды ночью перегнулась через меня, чтоб затушить сигарету в пепельнице на журнальном столике. Простыня соскользнула с нее, открылся бок и нижняя часть груди, такая белая кожа. У меня вспыхнуло отчетливое и ужасное желание ткнуть своей сигаретой в эту кожу, чтобы остался смазанный след ожога. Хотя вообще я любил ее, и больше никогда ни о чем таком не думал. Другой наш приятель сам сделал себе татуировку в виде не то ожога, не то черного солнца, а через два года покончил с собой. Мы были милыми ребятами. Печаль моя светла.

Ностальгия хуже чувства вины. Вина это честно. Ностальгия – уродливый клоун, пытающийся скормить тебе хорошее воспоминание на палочке. Бьют и плакать не дают.

Я поднялся, чтобы пройти в уборную, и по пути хлопнул приятеля по плечу. Так докторша после операции продемонстрировала мне сочувствие.

Он сразу поник головой, чуть не касаясь лбом стакана, точно его аккумулятор встал на подзарядку. И тут боковым зрением я заметил татуировку на шее приятеля. Наклонился, и прочитал вот что:

1985 гар срок 42 года
Конструкт тип 189/11 бис
гипотим тип вербальная интоксикация
образец //трудога-парень//
НЕ КАНТОВАТЬ

ДМИТРИЙ ЧИПРОНОВСКИЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА В МИРЕ



2250 год, планета Мираж.

Меня зовут Иван. Сейчас я нахожусь на планете Мираж. Мне двадцать с копейками.

Я знаю, что вы всё ещё живёте в двадцать первом веке, поэтому расскажу вкратце, что происходит у нас. Ну, ничего особенного. Всё то же. В нашем мире очень популярны суперзвезды кино и спорта, топ-модели. Я знаю, что сто пятьдесят лет назад вы их тоже любили, но мы их просто обожаем.

В нашем мире все сто миллиардов людей, все до одного, смотрят шоу «Без трусов» – это ежегодная церемония, когда на сцену выходят почти совсем раздетые девушки, самые красивые девушки нашей планеты. Такие профессии, как учёный, политик, военный отошли в прошлое. Они никому не интересны. В самом деле, что может быть забавного в политике. Все решения принимают люди. Да здравствует всеобщее голосование по Интернету-10. Вот, возьмём хотя бы профессию учёного. Скучно! Мы подошли к грани, дальше которой продвигаться нельзя. Наш великий математик Перельмун Перельмунович доказал: «Невозможно познать мир ниже таких-то и таких-то пределов».

Вот и получается, что нашему обществу не остаётся ничего другого, кроме как получать удовольствие, наслаждаясь красивыми телами, звуками и прочим. Но не это главное. Из моего текста вы могли сделать вывод, что мне не нравится такой мир. Это ошибка. На самом деле, очень

нравится. Очень. Я обожаю красивых девушек. И честно в этом признаюсь. И чем меньше на них одежды, тем больше они мне нравятся.

Но главное даже не это. Понимаете, я фрилансер. Ну, такой человек, который не состоит в штате в каком-либо одном журнале, а пишет в разные. В какие захочет или в какие пробьётся. Ну, и вы понимаете, как важно взять интервью у звезды. Тогда твою статью возьмут в крутой журнал и заплатят кучу денег.

Вот я и решил взять интервью у самой красивой девушки нашего времени. Но здесь есть несколько проблем. Во-первых, около ста миллионов других журналистов пытаются сделать то же самое. Во-вторых, я не знаю английский язык. Ну, а в-третьих, ни один редактор не верит, что это у меня получится.

В самом деле, самым красивым женщинам пишут письма миллионы. А если ты не знаешь языка, если ты не можешь позвонить агенту, если у тебя нет других статей со звездами, то шансы на интервью у тебя почти нулевые.

Но я не сдаюсь. Я пишу агентам и в модельные агентства: «У меня есть такие-то и такие-то вопросы. Может ли такая-то ответить на них?» Правда, пока ещё никто не ответил.

Но меня волнует не это. Существует масса тем, о которых можно написать в журнале. И даже если у меня не получится взять интервью у королевы, еще ничего не будет потеряно.

Меня на самом деле интересует совсем другая тема. Вот, смотрите, – мы все встречаемся с девушками, или девушки встречаются с нами. Но давайте скажем правду – «наши девушки не идеальны!» И это ещё мягко сказано. Они не красивы. Они не успешны. Да, кто-то из них неплохо устроился в жизни, кто-то чего-то добился, но достижения наших возлюбленных не могут идти ни в какое сравнение с достижениями Мадонны, Джоан Роулинг, Софьи Ковалевской и матери Терезы. Так же, как полуразвалившийся и ржавый запорожец не стоит сравнивать с болидом формулы один.

Ну, поэтому мы с ними и встречаемся. Мы не можем закадрить самых красивых женщин мира, самых умных, самых богатых, и довольствуемся второсортным товаром. И каждый понимает это. Вы можете обвинить меня: «Дескать, любимый человек – самый лучший». Но я не согласен с этим. В Британии провели опрос: «С кем бы вы встретили Рождество, если бы могли это сделать с кем угодно?» Опрос провели несколько лет назад и, как вы думаете, каким был ответ? С любимой? С любимым? Нет, с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

То есть современные мужчины пару лет назад, когда Джоли была в самом соку, хотели её, а женщины – Брэда Питта. И что делать в такой ситуации?

Что делать в такой ситуации, когда ты понимаешь, что твоя любовь – серая мышка по сравнению с бронзовым памятником когу? Отказаться от неё? Но ведь Джоли все равно даже не посмотрит на тебя. Продолжать любить? Но это словно бы не уважать самого себя, потому что каждый в душе любит звезду, а рождает детей от кого попало.

Но и это не самое главное. Мне не очень нравятся рассуждения неудачников. На мой взгляд, надо не плакать, а что-то предлагать. Вот я и предлагаю. Я предлагаю революцию.

Я считаю, что надо на государственном уровне обязать каждого человека сдавать свою сперму, ну или там свои яйцеклетки в специальный фонд. А обычным людям – дать возможность заводить детей от звёзд. Ладно, допустим, Джоли не обратит на тебя внимание, но у тебя будет хотя бы ребёнок от одной из самых красивых актрис недавнего времени. Допустим Брэд Питт никогда не полюбит Машу Иванову, но она сможет хотя бы родить от Питта, а не от тайного алкоголика Петрова.

Вы спросите, зачем всё это?

А вот зачем. Знаете ли вы, что 75% интеллекта зависит от генов. А это значит, что, давая своим детям хорошие гены, мы делаем огромный вклад в их будущее. Ведь некоторые как думают? Вот, заведу я ребёнка. Хорошо, замечательно. Потом отдам его в хорошую школу, найму репетиторов, сделаю умным.

Но судьба человека на 75% определяется в момент зачатия. Потом переделывать дурака в умного будет поздно. Нет, можно, конечно, отдать его в десять разных кружков, нагрузить английским и футболом, но толку-то будет немного. Пусть даже ваш ребёнок обгонит своих сверстников, но, как пишет автор книги «Геном. Открытия, которые поразили мир» (а это книга, которую официально поддержал фонд «Династия» Зиминой!), когда ребёнок вырастает, его интеллект сравнивается с интеллектом людей его окружения и в любом случае не поднимается выше планки, установленной природой.

Но если всё обстоит именно таким образом, не следует ли признать, что любовь устарела? Не следует ли сказать, что детей мы обязаны заводить от самых умных, самых талантливых и самых способных людей нашей планеты?

Я думаю, что да. Я думаю, что через сто лет женщины разучатся рожать естественным образом. И все будут заводить детей в пробирках, от самых одарённых людей планеты, одаренных в физическом плане, интеллектуальном, нравственном и т. д. Причём выбор, кто есть одарённый, а кто нет, останется не за государством, а за каждым человеком. Каждый сам для себя решит, кто тут талантлив, а кто нет, и каждый сам выберет для себя самую красивую девушку в мире.

ПУСТОТА



Я опустил гривну в автомат и, о чудо! мне выпали четыре короля и джокер. Боже мой! воскликнул я, подбегая к обменщику жетонов. Обменщик жетонов подскочил, приняв сидящее положение. Вы играли Джокер-2? спросил он. Два, два, ответил я. Обменщик побежал проверять мои слова к автомату с программным управлением. Автомат находился в двух шагах от стола, но бегал обменщик долго, я насчитал 36 кругов вокруг автомата, потом сбился, да и считать не было смысла, ну, никакого смысла не было напрягать свои мозги длинным счётом его коротких кругов. Но стоять и ждать смысл был. Скорее, не смысл, а надежда, – надежда получить свой законный выигрыш. Убедившись в правдивости моих слов, он, вернулся к столу и встал на колени, чтобы открыть верхний ящичек с навесным замком. Замок, конечно же, не хотел открываться, не подходил ключ, ни один, ни второй, ни третий. Проверив всю связку (а связка была большая, я не могу назвать точное количество ключей, потому что уже на 36, как всегда, сбился со счёта, но если судить приблизительно, то на подбор ключей у него ушло время, раза в полтора большее, чем время беготни вокруг автомата), обменщик утер локтем пот со лба, забрался на стол и, встав на нём на цыпочки, потянулся обеими руками за небольшим свертком, лежавшим на верхней полке под самым потолком. Он вручил его мне со

словами «поздравляю вас с победой заходите к нам чаще всегда рады». Засунув свёрток под мышку, я вышел из заведения.

На улице я тут же заметил красивую девушку, она мило скучала на скамеечке троллейбусной остановки. Здравствуйте, вы не могли бы немного подвинуться, обратился я к ней. Куда? спросила девушка. Вправо, ответил я, мне нужно посчитать деньги. Девушка подвинулась влево, и я присел на её место. Развернув свёрток, я увидел в нём доллары, не сказать, что мало, скорее много, я не стал утруждать себя в подсчёте денег, мне достаточно было просто подержать их в руках. Девушка тоже обратила внимание на содержимое моего свёртка и со словами «фу какая гадость» удалилась. В это время к остановке подъехал 37 троллейбус, другой маршрут здесь не ходит, за рулём троллейбуса сидела девушка, та самая, что минуту назад фыркала на мои деньги, она выразительно смотрела на меня и крутила пальцем у виска. Я подумал «большая какая-то» и зашел в троллейбус. Троллейбус был пуст, удивительно, и это в час пик, продолжил размышлять я. Сев на заднее сидение, я начал считать остановки маршрута, не помню, сколько насчитал, на 36 сбился. Аэропорт, объявил голос мужика, самого мужика, конечно, вообще не было, голос был записан на магнитофон, наверное. Откройте дверь, заорал я на весь пустой троллейбус. Какую? откликнулась девушка-водитель. Крайнюю, ответил я, подойдя к ближайшей двери. Двери открылись, шипя, но передние, и мне пришлось плестись к ним, считая на ходу сидения. Я сбился, как всегда, на 36. Дойдя до дверей, я вновь услышал шипение, но на этот раз шипела девушка-водитель, а билет у вас есть? Нет, ответил я. Тогда платите штраф. Сколько? Моя новая знакомая отчего-то была обнаженной, она сидела за рулём совсем голая, а её красивые ножки были эротически сомкнуты. Если б они были раздвинуты, то это была бы уже порнография и тогда мне пришлось бы так же подробно описывать то, что я в общем-то не разглядел. Что сколько? вопросом на вопрос ответила мне юная искусительница. Сколько штраф? Там написано, покачала пальчиком в салон красавица.

Я опять побрёл в салон в поисках информации, табличек было много, много больше, чем 36. В основном это были инструкции о пользовании общественным транспортом, а саму табличку с размером штрафа за безбилетный проезд я нашёл аж в хвосте троллейбуса, она висела над задними дверями, хотя табличкой её назвать трудно, это был скорее плакат с надписью 10\$.

Я не удивился и полез в свой свёрток, лежавший у меня за пазухой. Пока я наощупь там шарился, задние двери с шипением открылись. Я решил выйти и вернуться к своему контролёру через улицу, но, обойдя троллейбус, я не смог уже попасть внутрь, передние двери, шипя,

закрылись прямо перед моим носом. Через стекло я показал девушке десятидолларовую купюру, а она в ответ опять покрутила пальцем у виска, нажала на педаль газа и уехала, оставив небольшое облачко выхлопного газа и маленький металлический предмет, очень похожий на ролик от левой штанги троллейбуса. Я поднял ролик и положил в карман куртки проходящего мимо мужчины, не знаю зачем. А потом двинулся в сторону стеклянных ворот аэропорта и подошел к ним вплотную, но они так и не открылись, – наверное, что-то случилось с полупроводниками. Я ждал и ждал, но фотоэлемент все не срабатывал. Тогда я решил перелезть через забор и обойти здание аэропорта с другой стороны. Забор оказался не таким уж высоким, я легко преодолел его и оказался на взлётной полосе, по направлению ко мне на большой скорости двигался автомобиль с мигалками и звуковой сиреной, очень похожий на скорую помощь, только опознавательные кресты были наоборот. Из машины выскочили двое в синих костюмах, чем-то напоминающие хирургические, они выскочили с носилками. Их лица были в масках, но на хирургов они не походили, разве что на санитаров. Опоздавший? в унисон спросили они. Я кивнул головой и тут же оказался на носилках в машине. Что ж вы такой непунктуальный, мы весь аэропорт перевернули, самолёт ведь не троллейбус, ждать не будет, скажите спасибо пилоту и стюардессе, стыдили меня двое в масках, у вас багаж есть? Я вытащил из-за пазухи свой свёрток и принялся тыкать его им в лицо, они отмахивались, уговаривали меня убрать свою ручную кладь и в конце концов защёлкнули наручники на моих запястьях. Подъехав к самолёту, они спешно подняли меня по трапу, выгрузили в кресло хвостовой части и заботливо пристегнули ремнями безопасности, не забыв при этом снять наручники. Самолёт легко оторвался от земли, он был пуст, как и троллейбус. Я не удивился, иначе кто б ждал опоздавшего пассажира. Через четыре часа полёта стюардесса принесла мне роскошный обед. Стюардессой оказалась та же девушка, со скамеечки, она же водитель троллейбуса. Я сделал вид, что не узнал её, в надежде, что она не вспомнит мой безбилетный проезд троллейбусом, я был уверен, что за безбилетный проезд самолётом штраф может оказаться в тысячу раз больше. Я отобедал и стал смотреть в иллюминатор. Потом и это мне надоело, я решил прогуляться по салону, а заодно пересчитать иллюминаторы, на 36 мой счёт сбил голос из динамика, просим всех пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Самолёт вынужден сделать экстренную посадку. Этот голос мне показался похожим на голос из динамика троллейбуса. Прежде, чем занять своё место, я решил забежать в кабину пилотов и выяснить причину вынужденной посадки. Открыв дверь, я увидел, вернее, не увидел в ней пилотов, там был автопилот, не один,

а трое, я не стал им мешать в их ответственной работе, прикрыл тихонечко дверь и удалился. Минут через десять шасси самолёта коснулись бетонки, я это понял по звуку, точнее по троекратному звуку, секунд через 9 второй после первого и секунды через 4 третий после второго, а дальше всё по накатанной. Я только успевал считать пальмы, растущие вдоль полосы, раз, два, три... на 36 я сбился со счёта. Ступив на землю, я, повернувшись, помахал рукой своей прекрасной спутнице, не забыв послать воздушный поцелуй, в ответ она мне, конечно же, как всегда покрутила пальцем у виска. В здании аэропорта меня встретили два таможенника, спросив поочередно цель моего неожиданного визита в их славный город, одному я ответил, что ищу смысл жизни, а другому – смысл смерти, их удовлетворил мой ответ, они попросили меня снять обувь и пройти через арку. А потом ещё раз, потом ещё и ещё, на 36 проходе я сбился со счёта. Наконец, они попросили показать, что я прячу за пазухой. Я вытащил свёрток и хотел было развернуть его, но они отрицательно покачали головой, надев маски на лица. Я вспомнил о санитарях, погрузивших меня в самолёт, это были они, но что они искали, я пока не мог понять. Скажите, начал один из них, имеее ли вы при себе металлические предметы, я отрицательно покачал головой, тогда второй вытащил из кармана своей куртки ролик от штанги троллейбуса и, положив на столик, спросил, а это чьё? Я не знал, что ответить, и потому промолчал, потом они меня попросили положить этот ролик в карман, но уже моей куртки, и пройти снова через арку. И только, когда арка зазвенела, они сняли маски и одновременно отчеканили «добро пожаловать в Лас-Вегас!» Выход был длинным, точнее, вестибюль был длинным, я шёл и думал, нет, я считал и, как всегда, сбивался на 36. Я считал всё то, что двигалось, а двигалось всё то, что трудно считать, потому что оно движется, а движется не только живое, но и мёртвое. Мёртвое, конечно, это не то мёртвое, что вы подумали, я ведь выражаюсь фигурально, образно, хотя какой образ всплыл в вашем сознании, мне знать не надо, зачем мне знать ваши образы, когда я не всегда могу назвать свои, не по причине бедности фантазии, наоборот, это несколько иначе, чем вы подумали, хотя зачем вам думать, достаточно просто читать, хотя, хотя... а что хотя? Хотя я вам скажу, если вы сейчас это читаете, то прервитесь и вернитесь в начало, в начало не этого текста, конечно же, вы это всегда сможете сделать, а вернитесь каждый в начало своей жизни, к её истокам. Это просто, достаточно поворошить отделы мозга, отвечающие за память, и вы вспомните даже процесс своего рождения, ну, конечно, не в мелких подробностях, но всё ж. Для этого достаточно просто напрячься, хотя сам процесс напряжения – процедура не очень простая. Попробуйте вспомнить своё зачатие, самое-самое начало, если этот процесс,

конечно, можно назвать начальным, но и конечным он, естественно, быть не может, вообще, по моим соображениям, конца не бывает, в прямом смысле этого слова, а бывает только начало, начало и начало. Когда-то началась Вселенная, когда-то зачалась жизнь, когда-то началась смерть, а вот найдете ли вы во всём этом конец, – да не найдёте, ведь Вселенная пока не кончилась, ваша жизнь тоже, а смерть? Да она ещё не начиналась, значит, всё очень просто. Это как сходить покакать и потом спросить себя, зачем ты это сделал. Вся беда в том, что никто и никогда не задаёт себе таких вопросов, не из-за отсутствия любопытства, а потому что каждый знает ответ на этот простой вопрос. Хотя я вам скажу, что вопрос этот не так уж прост, как кажется на первый взгляд. Прост сам ответ и, что интересно, все его знают.

В общем, я шёл и считал дни, не потому что вестибюль был так длинен, а потому что шёл я очень медленно. Хотя я скорее плёлся, а не шел, да и дни были слишком короткими для данного полушария этой части земли, а ночи длинные, ну очень длинные, подлиннее, чем сам вестибюль для вашего представления. Хотя по своим соображениям я землю никогда не считал шаром. Скорее уж квадратом. Или кубом, большим таким кубом. Учитывая, что шар это сфера, то для сравнения округлости с неокруглостями очень подходит слово куб. Если б я сказал окружность, то тогда непременно для сравнения назвал бы квадрат. Но хорошо, что не треугольник, либо ещё какую-нибудь загадочную геометрическую фигуру с десятками равных углов или не равных, по типу какого-нибудь кристалла. Кристалл это очень красиво, если, конечно, кристалл по типу графита, хотя может быть графит и не кристалл, но то, что в нём существует кристаллическая решётка, это точно, хотя, может быть, и нет. Я как-то писал химическим карандашом, и он сломался. Сломался, конечно, не сам карандаш, карандаш был деревянным, сломался его стержень, хотя он был графитовым, и что ж? скажете вы, да ничего! Я подумал, может решётка слабая, а может и нет. Хотя, скажу вам, что дело не в том, что я сломал и у кого какая решётка, если она есть, а сломать можно что угодно. Один вот шёл, упал и сломал свою же голову, я б удивился, конечно, если б он сломал чью-то чужую, хотя и такое бывает. Бывает вообще всё и бывает даже как не бывает. И не важно, кто кому ломает голову. Главное, чтоб это было не больно, а ещё лучше её не ломать. А карандаш, по всей видимости, мне не надо было смачивать слюной, по крайней мере, так обильно, как я обычно это делаю, когда пишу свои истории. Это ж не последняя история моей жизни, тем более не первая, хотя почему тем более и почему не первая? Крайности. Я впал в крайности. Это как стоишь на карнизе, за спиной отвесная стена, а впереди пропасть и тоже отвесная, вот это уже крайность. Что остаётся делать? Только стоять на

месте, и это тоже крайность. Хотя вы мне скажете, что можно пойти вправо вдоль карниза, а я вам отвечу «нельзя», а вы мне «тогда влево», и влево – «нельзя». Почему, потому что это уже бескрайность, в самом глубоком понимании этого слова. Я остановился в центре большого и роскошного зала. В нём стояло много столов разных размеров, но не все из них стояли, некоторые двигались, перемещались в разных направлениях, вправо и влево, вперёд и назад на всех своих четырёх ногах, и даже вверх. Вниз, как бы они ни хотели, перемещаться они не могли, внизу им мешал пол, именно пол, потому что все эти столы были мужского пола и на некоторых из них лежали женщины, конечно же, обнаженные. Вы когда-нибудь видели обнаженных женщин на столах? Некоторые из вас ответят «да». Например, на акушерских, скажут. Но это не то, на акушерских столах все женщины лежат с раздвинутыми ногами, а здесь они все лежали в разных позах, и не всегда их ноги были раздвинуты. На тех столах, где женщины не лежали, они стояли, а на тех, где не стояли, они сидели, но всегда были обнажены. Однако на некоторых столах женщины отсутствовали, там была решётка, не химическая решетка, а, может, физическая, хотя какая разница, какая решётка, главное, что она была. Каждая ячейка этой решётки была обозначена цифрой, от 1 до 36, ноль я не считаю, ноль я никогда не считал, потому как это крайность или крайняя цифра, потому как последней её не назовешь, а уж первой – так тем более. Вы спросите, как это? Ведь ноль это точка отсчёта, но какого отсчёта? Я вот как-то попал в круглую комнату и захотел в ней посчитать углы, а их там не было, вернее, их было так много, что я сбился со счёта после 36. И тогда я подумал, какой смысл считать то, что сосчитать невозможно. Хотя высчитать можно всё, что угодно, высчитывают ведь формулу круга, диаметр, радиус, при помощи числа Пи. Какое замечательное число, это Пи, вы только вдумайтесь, а ещё лучше вслушайтесь в его звучание, попробуйте повторить несколько раз мысленно, а лучше вслух, вот так ПИ-ПИ-ПИ. Вот и я так же пищал, только не подумайте, что от женщин на столах, от женщин я обычно не пишу, вот они, они-то да, они даже визжат. Я одной рассказывал как-то историю своей жизни, так она визжала от удовольствия в попытке раздвинуть пошире свои ноги. Я, конечно, делал все, чтобы не допустить подобного поворота событий, ведь если такое допустить, вы представляете, какой визг бы стоял в зале. А раздвинутые женские ножки это так не эротично, ну, никакой тайны, а так хочется загадки, женской загадки. Знать ответ загадки неинтересно, интересно его искать, а если нет секрета, значит, нет и тайны, а если нет тайны, то пропадает всякий интерес к жизни, к смыслу существования. Если бы человечество знало своё предназначение, то не было бы смысла искать эту причину. Вы только представьте на ми-

ноточку, что открыт смысл смерти, тогда и смысл жизни перестанет существовать. Если мы не знаем смысла смерти, то, естественно, мы не можем знать смысла жизни, и наоборот. Доказанное ничего не стоит, а вопрос порождает кучу новых вопросов, а они порождают много, все разные, ни одного похожего, и уже появляется смысл жить. Хотя на все вопросы есть только один ответ. И не обязательно его знать, о нём, конечно, можно догадываться. Я догадался, где я нахожусь, да и вы, читатель, тоже, я в этом уверен, ну, а если кто не догадался, то пусть это останется тайной, чтобы был смысл читать дальше, если я, конечно, не утомил вас своими рассуждениями. Хотя, утомиться в этом зале было невозможно, он был красив, особенно женщины, их было очень много, но все они были на одно лицо и все они меня знали, вы спросите откуда, а вот не знаю! Я это сам понял, когда они закричали хором: Это он!!! Он!!! крутя пальцем у висков. Он... продолжали кричать женщины. Я не растерялся, но немного испугался, хотя у многих испуг ассоциируется с растерянностью, ну и ладно, чуть-чуть, самую малость, настолько мало, что мне захотелось спрятаться под стол, именно под стол, но ведь больше-то было некуда. Я, конечно, этого не сделал, желать не значит сделать, я это знал по опыту своей жизни. Однажды у меня было очень и очень странное желание. Я не буду рассказывать, какое, чтобы не сбить мысль и чтоб ты, мой читатель, не покрутил пальцем у своего виска. Вы даже не представляете, что со мной случилось, вы не можете это представить, чтоб такое представить, нужно знать о том желании. Я не хочу быть таинственным, вы попробуйте каждый про себя загадать желание, каждый своё, на свой лад, в меру своей фантазии, и представьте примерный план его реализации. А потом представьте себе, что это желание сбылось. Правда, приятно? Вы почувствовали внутри себя что-то такое нежное, тёплое, родное. Это называется удовольствие. Удовольствия продлевают жизнь, не настолько, конечно, чтоб она тянулась вечно, а только на длину удовольствия. Вы скажете мне, что удовольствие безмерно, но тогда я сам покручу пальцем у виска каждому из вас в отдельности, своим пальцем у вашего виска.

Вот так и мне все и всё время только и знают, что крутить у виска. А ведь мои желания не хуже ваших! Пусть не лучше, они не могут быть хуже или лучше, они другие. У всех разные желания и каждый воплощает их в жизнь по-своему, один быстрее, другой медленнее, третий воплощает-воплощает, а все никак не воплотит, но ведь стремление есть, стремление есть у всех, даже у тех, у кого нет цели. Вы скажете, что в отсутствие цели не может быть и стремления, а я скажу, что может. Я знал человека, у которого отсутствовала цель, а стремление было. Какое, спросите? Стремление к жизни, это очень хорошее стремление,

скажу я вам. Пусть даже жил он плохо, ну и что! Он умер. Вы спросите, когда он умер? Умер, когда пришло время умирать. А ещё я знал человека, у которого была цель, но он к ней не стремился. И что? Он тоже умер, и тоже тогда, когда пришло время, а цель его была смерть. Ха! И правда, смешно. Вот так и в жизни, живёшь себе, живёшь, а пришло время и умер. Что делать? Ну, вы скажете, например, нужно остановить время, я и это как-то сделал. Как? Я просто взял и умер. Всё очень просто, любое желание можно воплотить в жизнь, было б желание, а методы воплощения найдутся.

Вот так и в этом случае – желание спрятаться под стол появилось, но я его не претворил в жизнь. Почему? А вот передумал, просто передумал, потому что у меня появилось другое желание, желание закрыть всем женщинам рот, но чем? И тут я вспомнил о свёртке за пазухой. Я быстро достал его, мне хотелось швырнуть его, разбросать всё его содержимое по залу, а женщины тут же исчезли вместе со столами, точнее, столы вместе с женщинами исчезли, все, кроме одного, зеленого, на нём еще была нарисована решетка и цифры. Рядом со мной опять стояли эти двое в масках, и требовали, чтоб я выложил всё из свёртки на любую цифру, из нарисованных на столе. Мне ничего не оставалось другого, как исполнить их требование. Я положил свёрток на цифру 36, считать больше 36 я просто не умел. Вы выиграли, вы выиграли в 36 раз больше, чем принесли сюда, сказал один из них, а другой уже катил тележку с большим мешком, в 36 раз больше, чем мой свёрток. Я понял, что такой груз я не в состоянии унести с собой, или на себе, я понял, что этот груз мне не по плечу. Мне очень захотелось убраться из этого зала, но в нём не было ни окон ни дверей. В нём вообще ничего не было, кроме квадратного стола в центре и двух санитаров с тележкой и грузом, они молчали и внимательно наблюдали за мной. И тогда я побежал вдоль стен, я искал угол, я понял, что в углу моё спасение, и я его нашёл, наконец-то я нашёл укрытие, свой тёмный угол. Это была чёрная дыра, один-единственный угол на всё помещение, и эта дыра в считанные доли секунды поглотила меня. Я падал в ее трубу и ничего не чувствовал. Это состояние трудно описать, может, это состояние невесомости, да, похоже, конечно, но не то, здесь полное отсутствие себя, здесь «да» и «нет» одновременно. Что же это за состояние, тяжесть? Но тяжесть не в теле, тела нет. Лёгкость? Лёгкость в сознании, хотя и его тоже нет. Себя ощущаешь, но не материально, а как-то по-другому, наверное душою. Я не видел света, но и темноты не видел, было не холодно и не тепло сразу. Сколько прошло времени? А нисколько, его не существовало. Я повис в каком-то пространстве, хотя и пространства ведь не было. Там не было ничего, совсем ничего, пустота, сплошная непонятная пустота, понимание пустоты можно

осознать, а там не было даже и понимания. Вы скажете «были мысли», нет, мыслей тоже не было, они появились потом, когда я начал писать этот текст, а там, в чёрной дыре я не мог мыслить или, по крайней мере, мне не хотелось мыслить. Было одно желание, желание остаться навеки в этом блаженстве. Что все земные удовольствия в сравнении с этим состоянием? О, это неопишимо! Описать пустоту невозможно, о ней можно думать, но ее невозможно представить, как можно представить то, чего не существует? Хотя, раз я где-то был, значит, это где-то всё-таки существует. Может, это другое измерение, пространство, в котором можно присутствовать только вне своего сознания, то есть меня как бы не было и в то же время я был, был иначе, может, я рассыпался на мириады несуществующих частиц. Вам доводилось чувствовать себя мириадам несуществующих частиц? Во сне, скажете? Но во сне вы можете догадаться о своём сне, а о чем можно догадаться, если сон о пустоте? Вам никогда не снился пустой сон? О, это очень прекрасный сон, когда ничего не ощущается, когда ты не видишь ничего, когда ты ничего не слышишь, даже тишину, о, это самый замечательный сон, когда, проснувшись, ты не можешь вспомнить, кто ты и где был, потому что ты был никто и нигде не был. Ощущение пустоты – завораживающее чувство, чувство, неподвластное никаким измерениям. Выйти из такого состояния невозможно, есть, наверное, только одна уловка. Нужно очень сильно сконцентрировать своё сознание, как бы собрать его в пучок, собрать мириад несуществующих частиц воедино... Да, сделать это очень тяжело, тут чувствуешь себя пьяным, словно от нехватки кислорода, и это невыносимо приятно, настолько, что сам себя никогда не соберешь без высшего вмешательства. И тут какой-то высшей силой я был исторгнут из пустоты или из пространства небытия прямо на середину проезжей части. Я, конечно, сразу узнал игровой салон и обменщика жетонов, он был в белом костюме и в шляпе, он был за лобовым стеклом, а автомобиль стремительно надвигался на меня, он крутил пальцем у виска, а дальше была пустота...

ИРИНА СИДОРЕНКО (УКРАИНА, КИЕВ)
ТУК-ТУК



Тук.
В этой комнате всегда темно.
Тук-тук.
Темно и пусто.
Тук-тук. Тук-тук.
В этой комнате есть то, что хотелось бы спрятать от всего мира,
спрятать только для себя. Тук-тук.
Тук-тук.
Тук...

– Привет! Эй, ты что, уснул?
Ворков, с самого утра! И что он тут забыл?
– Да не кричи! – мой голос такой раздражённый.
– Ты что это? Не с той ноги встал?
Я поморщился.
– А тебя что, стучать не учили?
Ворков пожимает плечами.
– Ну вот ещё, стучать!

У меня иногда возникает впечатление, что он не способен изме-
ниться.

– Разве я тебя не просил?.. Ну всё, пошли.

Я едва ли не силой выпихнул его за двери... прочь из комнаты, где хорошо слышно этот стук.

Сегодня дорога в колледж показалась мне необычайно длинной, а Ворков – слишком громким. Он о чём-то болтал без остановки; я не слушал. Я вспомнил, что забыл с утра завести свою куклу – и что теперь? Она будет лежать, словно во сне, и ждать, чтобы я её завёл? Слово во сне – или как мёртвая?

От этой мысли становилось холодно в животе. Мне хотелось бежать домой, к кукле, чтобы услышать тихое, успокаивающе «тук-тук».

– Что-то ты сегодня молчаливый. И бледный. Заболел?

Я покачал головой и промолчал. Сегодня четыре пары. Через восемь часов буду дома. Продержится ли она восемь часов?

Не знаю.

Хорошо, что ночью я её перепрятал в шкаф – там просторно, и мать не увидит, даже если войдёт в комнату.

– Ты Генну видел?

– Когда? – в моём голосе впервые за всё утро проснулся интерес.

– Да хоть когда с тех пор, как мы в последний раз все вместе были в караоке.

– Видел. Она же пары не пропускает, балбес. Если бы и ты не пропускал, так тоже бы увидел! – я улыбнулся.

Ворков, кажется, обиделся. Ну и хорошо, теперь хоть полчаса от него отдохну.

Генна была девушкой из параллельной группы. Высокая, чернявая, смешливая – я знал, что она нравится Воркову, и она об этом знала. А кто не знал? Единственным, кто не догадывался об этом, был, кажется, сам Ворков.

Мои мысли опять вернулись в тёмную комнату, к шкафу, где тихонько стучала кукла. Хорошо, что я посадил её на цепь: дня три назад она пыталась убежать через окно. Но с третьего этажа... Тяжело было бы потом её починить, не говоря уж о том, чтобы объяснить матери её существование.

Прозвенел звонок, я сел за заднюю парту. Ворков озирался, искал глазами Генну – она сидела в крайнем ряду, через три парты от нас.

– Генна! Генна! Эй!

Я шикнул на Воркова – учитель бросил в нашу сторону гневный взгляд.

– Ну, ты заткнёшься сегодня? Дождись перерыва, дурак! Или иди сядь к ней, если не терпится.

Ворков насупился, но почему-то остался сидеть со мной. Вот чудак!

Учитель что-то бубнил, о радикалах, кажется? Чёрт его знает, что это такое. Я совсем не слушал. В груди нарастала паника, а вместе с ней всё громче стучало в ушах: «тук-тук», «тук-тук», «тук-тук»...

Вынесу ли я это до конца занятий? Я обещал матери больше не прогуливать, но кукла...

«Тук-тук», – всё настойчивее, всё чаще, – «Тук-тук».

Нет, не вынесу...

Я выдержал почти две пары – половину занятий. А потом кинулся домой. Потому что не слышал вокруг себя ничего, кроме разгневанного, упрямого стука. Кажется, Ворков что-то прокричал вслед, когда я посреди пары выбежал из аудитории под ошарашенным взглядом учителя.

Не помню, как проскочил парк, на дороге перед самым домом меня чуть не сбил дорогой чёрный автомобиль – блестящий, огромный. За рулём сидела дама с высокой чопорной причёской; она нервно проиграла мне, но не остановилась.

Я вбежал в переднюю, потом кинулся в комнату. Не было времени даже разуться – некогда, некогда! «Тук-тук», отдавалось в ушах.

Но почему в комнате такая тишина? Почему я ничего не слышу? Внезапно стало так тихо, словно в ушах были затычки. Я даже проверил... вот дурак!

Правая дверца шкафа была открыта, сам шкаф – пуст и гулок. Цепь сиротливо змеилась к окну, а на другом ее конце никого не было...

«Тук-тук»?

Я не проронил и слезы, но так плохо мне ещё никогда не было. Я едва дошёл до окна, перебирая в пальцах звенья цепи. На подоконнике лежало большое белое перо, тут сидел голубь.

Неужели из-за него она выпала из окна? Она падала, а вокруг кружили белые перья. Наверное, было красиво. Наверное, ей понравилось. «Тук-тук»?

Он сел на постели, панически моргая. Вокруг была крошечная темнота.

– Эй, ты что?

Она – та, что в его сне была куклой – лежала рядом. Живая. Целая. «Тук-тук».

– Приснилось... кошмар... – хрипло ответил он.

– И ты испугался? Что тебе приснилось? – она опустила изящную хрупкую руку на его голову. – Хочешь, поговорим? Разберемся, что значил твой сон?

– Не... не помню точно. Не хочу разбираться.

– Ну, не будем, – успокаивающе, словно ребёнку.

– Ты была куклой, там, в моём сне, – внезапно выпалил он, удивляя самого себя. – Мне приснилось... ты выпала из окна... разбилась... А я боялся, что не смогу собрать тебя...

– Куклой? – повторила она и улыбнулась. – Зачем тебе кукла, если рядом я, настоящая? А ну, скажи, что ты меня любишь.

Она прильнула к нему, заглянула в глаза.

– Люблю.

– Скажи ещё.

– Я тебя люблю.

– Вот и молодец, – она коснулась поцелуем его губ. – Вот и хорошо.

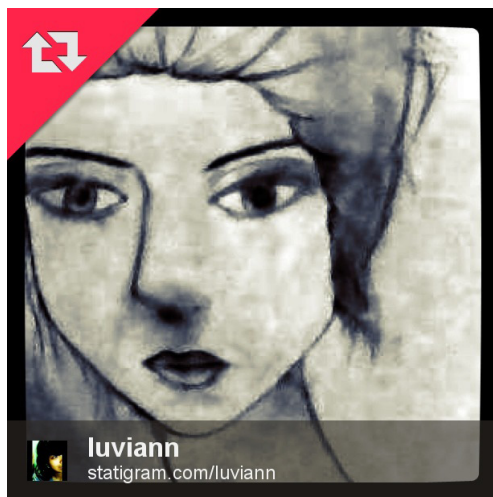
Погоди, сейчас я все поправлю...

Тук.

Стукнуло его сердце.

Тук-тук.

ИРИНА СИДОРЕНКО (КИЕВ)
ПОРТРЕТ ГРЕТ ДЕ ДОРАН



Весна, подобно умелому художнику, разукрасила город одним быстрым движением кисти. Свод неба потерял блеклость и унёсся ввысь, став ярко-голубым. Сады и парки оделись нежной зеленью, и – самое главное – зацвели цветы.

Под окнами стройного высокого особняка из бледного розового мрамора росли розы, и аромат хрупких, едва успевших раскрыться бутонов наполнял комнату. Грет, уютно устроившаяся на подоконнике в обществе пузатых подушек, совсем позабыла о книге в своих руках и полностью отдалась чудесному запаху.

Она как раз собиралась вернуться к чтению, когда тихонько тренькнул колокольчик.

– Госпожа, пришёл господин де Лентиньи. Проводить его в гостиную?

Грет легко соскользнула с подоконника.

– Ах, Мизетта, как мне надоели ухаживания этого месье! – расстроено воскликнула она. – Он вовсе не подходит моему кругу.

– Но, госпожа, он ведь ученик аптекаря! – с благоговением в голосе прошептала служанка. – И когда-нибудь сам станет аптекарем, почти ча-ро-де-ем...

Последнее слово Мизетта и вовсе произнесла едва слышно, словно оно было страшным заклинанием.

– Чародем! – Грет возмущённо всплеснула руками. – Когда-нибудь! Что за чушь! Мизетта, ты слишком много болтаешь. Мне пора положить этому конец. Проводи месье де Лентиньи. Я тотчас спущусь.

Грет захлопнула книгу, из которой так и не прочла ни строчки. Своими размышлениями она распалила себя и теперь кипела от негодования.

– Димир, вы совершенно невыносимы! В который раз я вынуждена вам сказать, чтобы вы прекратили свои настойчивые, замечу даже, – слишком настойчивые! – ухаживания?

Де Лентиньи был бледным, тощим, долговязым и выглядел никак не учеником аптекаря, – скорее уж помощником могильщика, – в своём неизменно мрачном сюртуке со строгим высоким воротником. Его внешность оставляла после себя довольно неприятное впечатление: его лицо портило хмурое, усталое выражение, а кисти рук были слишком тонкими и изящными для мужчины. Грет, первая городская красавица, считала его недостойной партией – ведь за ней увивался даже сын герцога Роташи, сюзерена провинции Дегонь!

– Простите, мадам, – он покаянно опустил голову. – Вы правы, я слишком настойчив. Но я не могу отказаться от встреч с вами, мне совершенно невыносима подобная мысль.

Ах да, ещё он был чересчур прямолинеен и совсем некуртуазен.

Грет вздёрнула подбородок.

– Что бы вы ни говорили, Димир, это всё не ново. Однако на сей раз я вас решительно прошу оставить меня в покое. Я не намерена встречаться с вами. Потрудитесь впредь не попадаться мне на глаза, ибо я не желаю вас больше видеть!

Это казалось невозможным, но де Лентиньи побледнел ещё сильнее.

– Вы меня прогоняете? – его привычный голос вдруг оказался чужим, холодным и сухим, как зимний ветер, и Грет поёжилась, несмотря на тёплые солнечные лучи, проникающие в гостиную сквозь высокие окна.

Она взяла себя в руки – с немалым трудом, нужно заметить, – и кивнула.

– Надеюсь, вы более не потревожите меня своим вниманием, – произнесла она решительно, но, к своему удивлению, едва слышно.

В его глазах, обычно тёмных и непроницаемых, на мгновение мелькнула ярость – будто кто-то приподнял тяжёлую занавесь. Но, едва Грет успела присмотреться, как взгляд Димира вновь стал тяжёлым и пустым.

...Он ушёл, не проронив ни звука и даже не поклонившись на прощание. Страх Грет, в какое-то мгновение ставший отчётливым и гулким, как одинокий вздох в пустой комнате, превратился в гнев. Грубиян!

На следующий день город полнился слухами. Свет говорил о том, что она, Грет де Доран, наконец решительно отказала де Лентиньи, и он решился на месть. Некоторые поговаривали, что нет – это проявление несчастной любви, что бедный юноша решился на столь отчаянный шаг в минуту помутнения разума...

Так или иначе, но на внешней, фасадной стене её дома обнаружился прескверный угольный рисунок, беглый эскиз, обозначающий, вероятно, саму Грет. Она приказала немедленно смыть убогий набросок, однако, сколько слуги ни старались, ни одна линия не стала хотя бы самую малость тусклее. Должно быть, рисунок был сделан какой-то особой краской – всё же автор был учеником аптекаря.

А в авторстве де Лентиньи никто не усомнился.

Грет почти полдня простояла около рисунка со своей подругой Виол Ранторин и наотрез отказалась ехать на бал, что давал сегодня маркиз Данийский.

– Моя дорогая, я не в состоянии станцевать ни одного танца, – воскликнула она, не отрывая глаз от рисунка. – Я совершенно измучена! Нет, вы только поглядите на это!

Грет возмущённо указала пальчиком на чёрные линии и нахмурила брови.

Красовавшийся на стене грубый рисунок, казалось, был выполнен детской рукой: круг – лицо, два кружка поменьше – глаза, неровная черта рта и небрежные штрихи волос. Ни малейшей схожести с оригиналом, но в изображении интуитивно угадывалась Грет.

– И это мой портрет? – она наморщила прекрасный маленький носик. – Какая безвкусица! Это просто чудовищно, как можно сравнивать это со мной?!

Она придвинулась к мадам Ранторин, чтобы та могла получше изучить её прелестный облик: золотые волосы, лёгкими волнами лежащие на точёные плечики, высокие аристократичные скулы, аппетитные розовые губы и очаровательные голубые глаза.

– Моя дорогая, и говорить нечего! Никакого сходства. Вы не должны обращать на рисунок никакого внимания. Дождитесь первого же дождя – и посмотрите, что с ним станется!..

Однако дождь, словно услышавший призыв и низвергший с небес свои воды уже на следующее утро, не сумел смыть рисунок – наоборот, сделал его ярче. Линии стали более чёткими, и это пошло портрету только на пользу: он обрёл странную гармоничность, не свойственную детским каракулям.

Грет, увидев рисунок и придя в негодование, смогла успокоиться только к обеду, а затем, признав правоту Виол, отправилась на бал.

В конечном счёте, один маленький рисунок не способен ежедневно расстраивать её планы!

...Свет сверкал в гранях бокала в руке у Грет, на её шее и запястьях. Ничего не изменилось – она по-прежнему была окружена поклонниками. Рисунок, казалось, только усилил её очарование. Грет едва успевала освежиться после очередного танца, как кавалеры принимались отчаянно соперничать за следующий тур кадрили.

– А вообще, в портрете есть какие-то чары, – слышала Грет.

– Да-да, он притягателен, но причина этого совершенно неясна. Детский рисунок, не более... – делились впечатлениями в ответ.

Кружился вальс, сменяясь весёлой полькой. Кружилась голова и плясали в руках бокалы – один за другим, поклонник за поклонником, кокетливые улыбки, почти двусмысленные шутки. Давно уже Грет не было так хорошо.

– Это потрясающе! Ещё два дня назад портрет выглядел обычными детскими шалостями, а сегодня...

Грет рассеянно кивнула. Спустя неделю после своего появления рисунок приобрёл отчётливое сходство с оригиналом, став талантливым наброском юного художника.

– Вы не знаете, что бы это могло означать? – заинтригованно спрашивала мадам Ранторин. – Вы не видели, – может, он рисует ночью? Вы должны были видеть!

– Нет, нет... я уже третью ночь не сплю! – Грет в отчаянии сжала руки. – Но я так его и не заметила. Он ни разу даже не приблизился к крыльцу!

– Ну что вы, милочка, – рассмеялась Виол. – Вы, должно быть, уснули – вот и не видели ничего!

Спорить было бессмысленно. К тому же, Грет и сама сомневалась, уж не спала ли она – слишком фантастическими казались ей другие объяснения.

– Должно быть, это заколдованный рисунок, – пробормотала она, но мадам Ранторин её не услышала.

...Портрет и вправду был словно зачарованный. С каждым днём он становился всё чётче, всё естественнее, всё вернее. Сейчас никто не смог бы усомниться, что именно Грет изображена на нём: несмотря на единственную краску – черноту угля, исполнение было превосходным в своей точности. Девушка на рисунке обладала лицом Грет и чёрными, едва не колышущимися под порывами ветра волосами.

Грет старалась не смотреть на портрет – при каждом взгляде ее бросало в дрожь. Ей казалось, что она сама замурована в бледно-розовый камень, и безмятежность, написанная на лице двойника, пугала её.

Портрет обсуждал весь город: на балах и приёмах только и речи было, что о мастерстве ученика аптекаря.

– Это определённо лучший портрет, что я видел, – благосклонно улыбался герцог Роташи. – Де Лентиньи, конечно, каждую ночь дорисовывает его... Очаровательный подарок, вы не находите?

Грет не знала, что отвечать, и только растерянно кивала.

В последнее время по утрам она чувствовала странную необъяснимую слабость, которая, впрочем, проходила сразу же после завтрака. Однако Грет с тревогой вглядывалась в своё отражение: ей чудилось, будто черты её прекрасного лица бледнеют и расплываются, волосы темнеют, и она превращается в свой портрет, запёртый в мраморе...

Проснувшись как-то ночью от такого кошмара, она больше не сумела уснуть, и до рассвета просидела на кровати, обнимая свои колени, с широко раскрытыми глазами и сжатыми от напряжения зубами.

– Вы видели? В портрете появились краски!

Грет вздрогнула. Она по привычке не смотрела на своё изображение, и новость стала для неё неожиданностью.

Виол взяла её за руку.

– Грет, милочка, сегодня вы выглядите неважно.

– Дурные сны, – коротко объяснила Грет.

У неё не было сил рассказывать мадам Ранторин о том, что беспокоит её на самом деле, но Виол этого и не требовалось.

– Я вызову месье Груайя, чтобы он вас осмотрел.

...Доктор хмурился, качал головой и наконец запретил ей вставать с постели.

– Это только слабость, – успокоил он Грет. – Ничего серьёзного, не беспокойтесь, госпожа де Доран. Я выпишу вам микстуру. Если почувствуете себя хуже, сообщите мне.

Однако к вечеру ничего не изменилось, и Грет, презрев наказ месье Груайя, нашла в себе силы прогуляться в саду, а заодно и взглянуть на портрет.

А портрет и вправду вдруг стал прекрасной картиной – рисунком называть её было более невозможно. Грет в изумлении рассматривала лицо девушки – своё лицо, знакомое и привычное, которое она каждый день видела в зеркале. Теперь сам портрет казался застывшим зеркалом: краска тронула губы, мягким блеском отделила глаза. Только волосы оставались чёрными, угольными.

Грет всмотрелась в изображение. Ей померещилось, будто губы приоткрываются в безмолвной мольбе, в неслышном крике...

Она судорожно вздохнула и потеряла сознание.

– Грет, деточка, с вами всё хорошо? Вы выглядите бледной, – обеспокоено заметила мадам Карго.

Грет тускло улыбнулась.

Сегодня ей стало лучше, и доктор разрешил встать с постели, однако страшная слабость не отпускала её из своих объятий.

– Вы так молчаливы в последнее время, – мягко укорила её мадам Карго. – Знали бы вы, что толкует свет! О вас и этом несчастном мальчике-портретисте... Он ученик художника, не так ли?

– Нет, он ученик аптекаря, – Грет покачала головой. – Вы должны простить мне, мадам Карго, эти дни – страшное испытание для меня. Слабое здоровье не позволяет выходить в свет..

– Да-да, конечно! Мадам Ранторин ухаживает за вами, не так ли?

– Она очень добра, – кивнула Грет.

Виол становилась навязчиво-заботливой, но Грет терпеливо сносила все экзекуции: ею овладело безразличие. Единственное, к чему она ещё испытывала интерес, был её портрет. Она с тревожной настойчивостью выискивала в нём изменения и, найдя, приходила в неистовство.

Теперь она понимала, что с ней происходит: портрет и вправду обладал чарами, и эти чары крали её жизнь, отдавали её нарисованной девушке. Вот почему бессмысленно было пытаться поймать художника; его попросту не было!

А Грет – она, оригинал, постепенно потеряет свои краски, станет блеклой и безжизненной, в то время как портрет её оживёт. И тогда – она умрёт. Грет понимала это уже сейчас. И она понимала, чего испугалась в тот день, когда совершила ошибку, разрушившую её жизнь: в глазах де Лентиньи тогда мелькнуло обещание смерти.

...Грет де Доран была бледна и измождена – мадам Ранторин погладила потускневшие, но по-прежнему прекрасные, золотые волосы.

Завтра свет будет гудеть – и у всех на устах вновь будет красавица Грет. Вот только это будет её последний день; слишком быстро люди забывают своих кумиров.

Мадам Ранторин вздохнула и смахнула со щёк слёзы.

– Месье Груайя, будьте любезны, отдайте соответствующие распоряжения, – она оперлась на его руку, выходя из комнаты.

– Вы были очень добры к покойной, – доктор мягко, успокаивающе накрыл её руку своей. – Но вам также требуется отдых.

Виол кивнула.

Завтра весь свет будет говорить, как прекрасен портрет Грет де Доран. И какое несчастье, что она угасла, не успев увидеть его в день завершения...

Постскриптум

Грет была прекрасна даже на смертном ложе – настолько прекрасна, насколько это могла позволить смерть, дама ревнивая и злопамятная.

Димир вздохнул.

Сегодня, придя домой после похорон, он выбросит всё, что дарило ему такую сладость эти последние три месяца. Выбросит кисти, краски... выбросит свою мечту стать художником. Кара свершилась.



Сделка

Когда я вошел в комнату, она все еще стояла над своим мертвым телом. Никак не могла понять, что же с ней произошло. Увидев меня, она печально улыбнулась и спросила: «Вы смерть?» Признаться, я был немало шокирован, – ни одна душа до сих пор не осмеливалась задать мне подобный вопрос. К тому же она была так красива, что я окончательно растерялся и виновато пробормотал: «Да».

– Можете возвращаться обратно.

Ее поведение показалось мне забавным. Улыбнувшись, я произнес:

– Я пришел забрать вас. И я это сделаю, хотите вы того или нет. К тому же, нет смысла вам здесь задерживаться. Вы умерли. Покончили с собой. Перерезали себе вены. А потому – перестаньте капризничать и отправляйтесь за мной.

– Никуда я не пойду, я передумала умирать.

– Перестаньте говорить чепуху, поздно что-либо передумывать, – ее нахальство начинало меня раздражать.

– Но послушайте, ведь должен же быть какой-нибудь выход из создавшейся ситуации, вы же наверняка запросто можете снова вернуть меня к жизни.

– Не могу, – солгал я.

– Я бы могла предложить вам что-нибудь взамен...

- Скажите лучше, что вас здесь держит?
- Как что? Обычные людские радости...
- И что же они из себя представляют?
- Если вы вернете меня к жизни, я отвечу на ваш вопрос.
- Не уверен, что заинтересован в подобной сделке.
- Вы упускаете много интересного.
- Сомневаюсь. Однако мне действительно непонятно, почему люди упорно цепляются за жизнь даже после того, как по собственной воле с ней расстаются.
- У вас есть шанс удовлетворить свое любопытство.
- Это будет против правил.
- Да бросьте, вы же наверняка не последний человек в загробном мире!
- Я не человек.
- Ах, извините, но думаю, вы поняли, что именно я имела в виду.
- Понял. И скажу вам, что вы правы. И все-таки я должен подумать. Кто-либо из родственников видел вас мертвой? А впрочем, не отвечайте, я и так знаю, что нет.
- Вы долго будете думать?
- Ваше счастье, что я вообще с вами заговорил.
- И за что же такая честь?
- Исключительно за внешнюю привлекательность. Других достоинств я, признаться, пока не обнаружил.
- Хам!
- Ничуть. Я всего лишь высказал вслух свои мысли.
- Спешу вам сообщить, что мысли ваши хамские!
- И, тем не менее, вам приятно было их услышать.
- Наивный!
- Меня поражает ваша наглость! Вы умерли и будьте добры помолчать!
- Не дождетесь!
- И впрямь, разумней было бы вас оживить, чтобы не связываться.
- Что же вас удерживает?
- Как вы планируете выполнить свою часть сделки? Чем именно думаете расплачиваться?
- Я бы могла показать вам все то, что рождает во мне желание продолжать жить.
- Боюсь, что для этого мне бы пришлось слишком надолго у вас задержаться. А у меня не так много времени.
- У вас не бывает отпусков?
- Бывает. Только вот не уверен, что дело стоит того, чтобы потратить на него отпуск.

- Можете в этом не сомневаться!
- Ну ладно, – я устало зевнул, – однако я оставляю за собой право расторгнуть сделку, если вы попробуете меня обмануть.
- Каким образом? Я всегда говорю только правду.
- В ту же секунду сделка была расторгнута.

Миррериум

Страх настиг меня внезапно. Я делал очередной глоток чая из кружки за завтраком, как вдруг руки мои задрожали. Пытаясь развеять нахлынувшее наваждение, я подошел к окну, мне показалось, что созерцание неба поможет мне найти успокоение. Однако, как назло, все за окном заволочло туманом. Я вглядывался в туман в попытках отыскать хотя бы лучик света, но чем старательнее я это делал, тем страшнее мне становилось. Тени, которые минуту назад представлялись мне обычными прохожими, обретали иные очертания. Теперь они стали темными крылатыми тварями, скалящими в глумливых усмешках зубастые рты. Внезапно одна из них меня заметила. По ее взгляду я понял, – она догадалась, что я понял ее истинную природу. Тварь неприятно ощерилась и растаяла в тумане.

Я отпрянул от окна и начал искать успокоительное. Мне не хотелось верить в то, что реальность такова, какой она представилась мне сегодня. В тот момент, когда я наконец-то отыскал нужные мне таблетки, в дверь постучали. И тут же еще раз, уже требовательнее. «Наверное, нужно найти какое-нибудь оружие», – подумал я. Однако от этой мысли мне стало не по себе, – я не хотел страданий и боли. И в этот же момент дверь разлетелась в щепки, и в комнату вползло нечто странное. Не знаю, как это назвать. У этого создания не было ни рук, ни ног, ни лица. Это была некая темная субстанция, все время менявшая очертания. То она становилась похожа на ключья тумана, которые сплелись в живой сгусток, то на огромную каплю черной смолы, то на гигантский столб дыма. В сознании вновь мелькнула мысль об оружии, но я понял, что не смогу причинить вреда даже этому странному существу. Внезапно существо превратилось в моего лучшего друга. Я как во сне протянул ему руку, а он ударил меня сапогом в солнечное сплетение. Я упал на пол и стал задыхаться. Когда я немного пришел в себя, надо мной вновь нависала большая капля смолы. Спустя мгновение она превратилась в мою возлюбленную. Я потянулся к ее губам, но она впилась зубами мне в горло, вгрызаясь в него, как собака. Вскоре силы меня покинули, и я, скорчившись на полу, молча затрясся в ознобе.

– Нужно вставить циркуль ему в сердце, – услышал я над собой чей-то знакомый голос.

– А он не будет сопротивляться?

– Нет, этот парень болен миррериумом. Он не сможет причинить вреда никому из нас.

– Держи! – кто-то сунул мне в руки ручку и лист бумаги. – Напиши нам своей кровью что-нибудь трогательное. А мы посмеемся.

Я закрыл глаза и вновь попытался увидеть не темные обрывки тумана, а людей, которые прежде были на их месте, но очередной удар сапогом в живот не позволил мне этого сделать.

Истина

Однажды я шел вдоль берега реки и увидел одинокого старика, бросающего в воду камни. Он сидел на песке и созерцал круги, что разбегались по воде от их падения. У старика был очень спокойный и отрешенный вид. Волосы его были седыми, на лице росла белая ухоженная борода. Присмотревшись к нему, я осознал, что передо мной сидит самый настоящий мудрец-отшельник, ищущий в созерцании кругов какой-то глубокий смысл. Я подошел к нему поближе и, деликатно кашлянув, заставил его обратить на себя внимание.

– В чем дело? – спросил он, слегка обернувшись.

– Простите, чем это вы заняты? – поинтересовался я.

– Кидаю в воду камешки.

– Зачем?

– Просто так, от нечего делать.

– Я вам не верю.

– Что?

– Наверняка в ваших действиях есть какой-то глубокий смысл.

Старик задумчиво почесал затылок.

– Какой смысл?

– Ну, не знаю... слияние с природой, постижение космоса, мало ли что?

– Чушь какая! – он посмотрел на меня с явным неудовольствием. – Нет тут никакого смысла, просто не знаю, чем занять себя до обеда.

– Нет, если не желаете, можете не говорить, – обиделся я.

Старик встал, раздраженно махнул на меня рукой и ушел прочь.

На следующий день я встретил его на том же самом месте. Он стоял на берегу с куском хлеба, отламывал от него по кусочку и бросал чайкам. Пернатые хватали их своими проворными клювами и жадно проглатывали. Все это напоминало какой-то тайный обряд. Я подошел к старику и спросил:

– Чем это вы занимаетесь?

– Кормлю птиц, – с явным нежеланием ответил он.

– Зачем?

– Да низачем! – был ответ.

– Я вам не верю, – сказал я, – в ваших действиях наверняка есть какой-то глубокий смысл.

– Да что ты ко мне привязался? – рассердился старик. – Какой смысл тебе нужен?

– Ну, не знаю. Возможно, вы демонстрируете, что птицы летят на хлеб, как дурные мысли в грешную голову, или хотите показать, что хлеб тленен так же, как наш мир.

Старик ничего не сказал, он бросил на меня такой ненавидящий взгляд, что мне расхотелось продолжать расспросы. Я повернулся и ушел.

Мы встретились с ним снова через день. На своем привычном месте он удил рыбу. Лицо у него было очень серьезное, и я сразу понял, что дело не в рыбалке. Очевидно, и это занятие было лишь разновидностью его каждодневных медитаций. Я тихо подошел к нему и спросил из-за спины:

– Чем это вы занимаетесь?

Старик оглянулся и, увидев меня, фыркнул:

– Танцую вальс!

– Нет, вы удите рыбу, – произнес я, пропустив его остроту мимо ушей.

– Ужу рыбу, – согласился он.

– Но я вам не верю! – сказал я.

– Почему? – взревел он, бросив удочку и вскочив на ноги.

– Потому что вы не можете просто так удить рыбу, вы – мудрец, занятый поиском истины, практикующий медитации, полные тайного аллегорического смысла.

Старик удивленно открыл рот и, не в силах что-либо сказать, начал закрывать его, то снова открывать. Внезапно поплавок его удочки задрожал и ушел под воду. Старик тут же схватил удочку и принялся тянуть леску на себя.

– В чем смысл ваших действий? – решительно подступил я к нему. – В чем истина?

В этот момент леска оборвалась и огромная, весом под пять килограммов рыбина, блеснув боком в воде, ушла в глубину. Старик раздраженно бросил удочку на землю, подскочил ко мне и, схватив за ухо, начал охаживать кулаком по голове.

– Истина, говоришь? Я тебе покажу истину! Смысл, значит? Я тебе устрою смысл, сукин ты сын!

С тех самых пор я осознал, что истина есть одна, – не лезь к окружающим с идиотскими вопросами.

ЭСТЕТОСКОП. 31 _ В ПЕЧАТЬ



Эстетоскоп участвует в борьбе с диктатурой в России.

Нас раздражает тот факт, что мы и наши авторы вынуждены отвлекаться от нашей главной задачи – поисков прекрасного – и отвечать на навязываемые нам вызовы режима, стремительно скатывающегося в тоталитаризм. Эстетоскоп не верит в бога и в существование партии «Единая Россия», Эстетоскоп не ходит на митинги и не летает на юг с журавлями, Эстетоскоп не приемлет запретов на использование образов, слов и словосочетаний.

Для того, чтобы защитить свое право и право наших авторов свободно мыслить, писать и говорить, мы пользуемся теми же возможностями, которые используем для нашей основной деятельности – возможностями издательскими. В специальном разделе проекта Эстетоскоп_в_печатать – Aesthetoscope31 – мы размещаем издания, раскрывающие тему борьбы с диктатурой и способствующие ее крушению.

Сегодня на нашем сайте Aesthetoscope.info, в разделе Aesthetoscope31 вы можете скачать и распечатать нужные и хорошо оформленные издания, в составе которых:

- Лев Толстой «Письмо к индусу»,
- Махатма Ганди «Избранные места из книги «Моя жизнь»,
- Генри Дэвид Торо «О гражданском неповиновении»,
- Джин Шарп «От диктатуры к демократии (концептуальные основы освобождения)»,
- Фридрих Ницше «Так говорил Заратустра» (фрагмент),
- Эрнесто Че Гевара «Партизанская война»,
- абсолютно актуальное пособие Ким-Де-Форма «Как правильно взорвать «Дом-2»
- и «Последнее слово» Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич на судебном заседании по делу Pussy Riot.

Эти работы мы собрали также в отдельное бумажное издание и представляем его вашему вниманию.

Мы рады участию наших читателей в этой работе и с интересом рассмотрим ваши пожелания по составу раздела Эстетоскоп31 и следующего сборника Эстетоскоп.31_в печать.

РАФАЭЛЬ ЛЕВЧИН (США, ЧИКАГО)

СТАРЫЕ ЭФЕБЫ



Эстетоскоп готовит к выпуску в свет полную версию визуально-поэтической композиции Рафаэля Левчина «Старые эфебы». Избранные места из этого произведения были опубликованы нами в последнем выпуске альманаха Aesthetoscope – Aesthetoscope_Поэзия.2012.

«Создание цикла было мучительным – писалось легко, передельвалось ещё легче, но эта лёгкость оказалась обманчивой. Когда дело дошло до введения в книгу коллажей, то началась эпическая схватка: визуалки набрасывались на тексты, и автор с замиранием сердца размышлял, кто же кого поборет.

Коллаж в принципе не должен быть иллюстрацией к тексту, но и текст не должен быть погребён под коллажом. Автору и самому не всегда понятно, как им удалось в конце концов найти общий язык и согласованность.»

AESTHETOSCOPE.INFO
ЭСТЕТОСКОП ИНФО. ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ
АЛЬМАНАХ ЭСТЕТОСКОП
БИБЛИОТЕКА ЭСТЕТОСКОПА

AESTHETOSCOPE.LIVEJOURNAL.COM
РЕДАКЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЭСТЕТОСКОПА

AESTHETOSCOPE.ISSUU.COM
АРХИВ ЭСТЕТОСКОПА

FACEBOOK.COM/AESTHETOSCOPE.INFO
TWITTER.COM/AESTHETOSCOPE
STATIGR.AM/AESTHETOSCOPE
YOUTUBE.COM/AESTHETOSCOPE
ЭСТЕТОСКОП В FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM
И НА YOUTUBE

INFO@AESTHETOSCOPE.INFO
ПОЧТА ЭСТЕТОСКОПА



- В чем дело?
- Простите, чем это вы заняты?
- Кидаю в воду камешки.
- Зачем?
- Просто так, от нечего делать.
- Я вам не верю.
- Что?
- Наверняка в ваших действиях есть какой-то глубокий смысл.
- Какой смысл?
- Ну, не знаю... слияние с природой, постижение космоса, мало ли что?
- Чушь какая! Нет тут никакого смысла, просто не знаю, чем занять себя до обеда...

Алексей Зайцев (Москва). Истина

